



УРАЛЬСКИЙ

Следопыт

5 '90



Даём

«УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ»

На Приполярном Урале в массиве хребта Непроступный есть вершина «Уральский следопыт». Название ей дали в 1979 году, когда группа туристов из Свердловска поднялась на безымянный пик с отметкой 1550 метров.

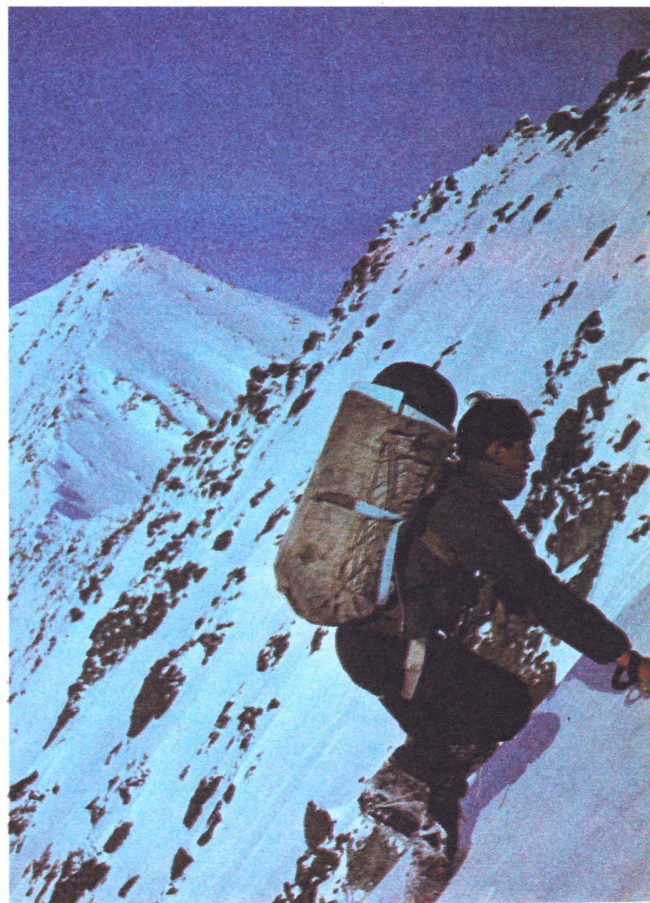
Впоследствии вершину покоряли немногие, что, вероятно, вызвано труднодоступностью и малой известностью ее. Этим и привлек пик «Уральский следопыт» туристов-уралмашевцев. 29 апреля 1989 года наша группа вышла на маршрут. Ее целью было восхождение на пик Сабля, преодоление нескольких перевалов и подъем на пик «Уральский следопыт».

Через десять дней пути мы разбили базовый лагерь в 12 км от вершины в долине Левого Парнука. Три дня сильный встречный ветер пресекал все попытки восхождения и «сдувал» нас обратно в долину реки. Лишь на четвертый погода смиловилась и позволила подойти к вершине. Снег был настолько плотен, что лишь ледоруб и зубья кошек оставляли на нем следы. Огромные снежные козырьки на гребнях напоминали о недавнем буйстве природы. А сейчас все вокруг затаилось в обманчивом спокойствии, ведь затейливого узора карнизы — это несколько тонн спрессованного снега, готового рухнуть в любой момент, а поражающий белизной склон — притаившаяся снежно-ледовая плита, которая собьет каждого, кто нарушит ее покой.

Но вот остались позади монотонный подъем по предвершинному цирку, сложный траверс скального гребня и шорох уходящих из-под ног камней. Мы на вершине «Уральского следопыта»! Отличная видимость позволила запечатлеть панораму красивых хребтов Урала — Непроступного и Исследовательского. На севере виден профиль Манараги, на востоке — белый купол Народной. Под мемориальной доской на вершине оставили записку о восхождении. А потом был спуск по скальному отвесу, обманчивый лед реки Маны, потепление, превратившее наст в снежно-водяную кашу, и последний перевал, за которым шла дорога в «населенку».

ВЛАДИМИР КИРИЛОВ,
участник восхождения.

Фото автора



УРАЛЬСКИЙ

Следопыт



5 '90

В НОМЕРЕ:

Л. Печенкин «ПРИКАЗАНО ТЕБЯ ЗАМЕНИТЬ»	2
Л. Шкавро ОСТАНЕТСЯ ВЕЧНО СО МНОЙ... Стихи	6
Ю. Левин БЕРЛИН, МАЙ СОРОК ПЯТОГО	7
Н. Теличко АТАКА. ПЕХОТА НА СНЕГУ. Стихи	12
Н. Соломко ГОРБУНОК. Повесть.	13
И. Пьянков ТРЕХГРАННОЕ ВРЕМЯ	29

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ «АЭЛИТА»

А. Стругацкий, Б. Стругацкий ПОНЕДЕЛЬНИК НАЧИНАЕТСЯ В СУББОТУ	31
А. Романов ЧУДА НЕ БУДЕТ	50
ЗАОЧНЫЙ КЛФ	51

С. Зигуненко ИНСТИТУТ ЧЕЛОВЕКА	53
И. Пешкова НИЧЕГО, КРОМЕ ТРАВЫ	57
Э. Берроуз ТАРЗАН — ПРИЕМЫШ ОБЕЗЬЯНЫ. Продолжение	61
УЧЕНЫЙ... С 13 ЛЕТ	73
С. Захаров ЭТО ПЕСНИ ТВОИ И МОИ	74
Л. Сурин КАК НЫНЕ СБИРАЕТСЯ ВЕЩИЙ ОЛЕГ...	74
В. Городиллина «Я БУДУ ВЕЛИКИМ МУЗЫКАНТОМ...»	76
И. Берсенев СОВЕТЫ ТЕМ, КТО В ПОЛЕ И В ТАЙГЕ	78
МИР НА ЛАДОНИ	79
Ю. Сентябрьев ДОМИК В ЗЛАТОГОРОВО	80

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР
СВЕРДЛОВСКОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО
ОБКОМА ВЛКСМ

ИЗДАЕТСЯ
С АПРЕЛЯ 1958 ГОДА

СВЕРДЛОВСК
СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Редакционная коллегия:

Станислав МЕШАВКИН
(главный редактор),
Евгений АНАНЬЕВ,
Виктор АСТАФЬЕВ,
Виталий БУГРОВ,
Муса ГАЛИ,
Юний ГОРБУНОВ,
Герман ИВАНОВ
(заместитель главного
редактора),
Сергей КАЗАНЦЕВ
(ответственный секретарь),
Владислав КРАПИВИН,
Юрий КУРОЧКИН,
Давид ЛИВШИЦ,
Николай НИКОНОВ,
Олег ПОСКРЕБЫШЕВ,
Анатолий СЕМЕРУН,
Константин СКВОРЦОВ,
Аркадий СТРУГАЦКИЙ,
Юрий ШИНКАРЕНКО

Художественный редактор
Евгений ПИНАЕВ
Технический редактор
Людмила БУДРИНА
Корректор
Ольга НАГИБИНА

Адрес редакции:
620219, г. Свердловск,
ГСП-353, ул. Декабристов, 67
Телефоны отделов:
22-36-62 (прозы и поэзии,
фантастики),
22-45-01 (краеведения,
секретариат),
22-04-81 (публицистики,
молодежных проблем),
22-10-74 (науки и техники,
писем)

Рукописи принимаются пере-
печатанными на машинке через
2 интервала, 60 знаков в строке.
28—30 строк на странице.

По вопросам подписки и достав-
ки обращаться в районные от-
деления «Союзпечати». Брако-
ванные экземпляры отправлять
в типографию издательства
«Уральский рабочий».

Сдано в набор 05.02.90.
Подписано к печати 22.03.90.
НС 15075.
Формат бумаги 84×108¹/₁₆.
Бумага типографская № 2.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 8,82.
Уч.-изд. л. 13,4.
Усл. кр.-отт. 11,76.
Тираж 500 000.
(2-й завод: 250 001—500 000).
Заказ № 530.
Цена 40 коп.
Типография издательства
«Уральский рабочий».
620219, г. Свердловск,
пр. Ленина, 49.

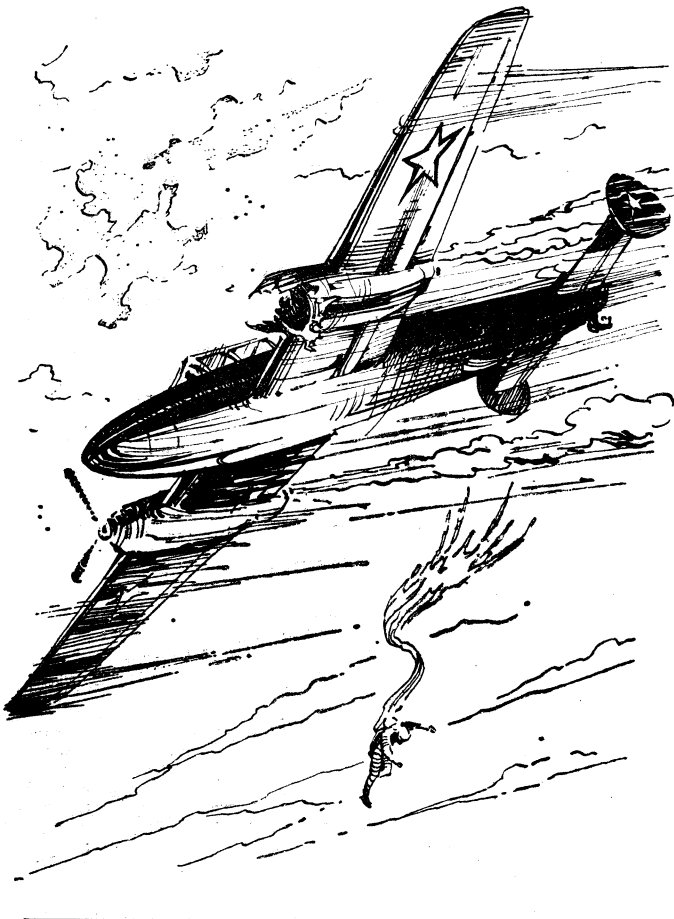
На 1-й стр. обложки фото
Владимира Холостых.



«ПРИКАЗАНО ТЕБЯ ЗАМЕНИТЬ»

Леонид ПЕЧЕНКИН

Рис. Дмитрия Литвинова



К 45-летию Победы в Средне-Уральском книжном издательстве готовится к печати документальная повесть «Позывные воздушного разведчика». В ней рассказывается о фронтовой судьбе Надежды Александровны Журкиной, почетного гражданина старинного уральского города Туринска. Студентка юридического института, она ушла на фронт в июле 1941 года. Служила стрелком-радистом в авиационном разведывательном полку 15-й воздушной армии. Наша землячка — одна из четырех в стране женщин, ставшая полным кавалером ордена Славы.

Леонид Печенкин, бывший штурман-авиатор, собрал уникальный материал о героине и ее боевых друзьях и написал первоначальный вариант повести. К глубокому сожалению, завершить работу ему не пришлось.

Думается, что автор и те, кто помогли ему подготовить книгу к выходу в свет, выполнили свой долг перед героями повести, многие страницы которой продолжают боевую летопись Урала.

Эдуард МОЛЧАНОВ

В октябре сорок четвертого экипажи гвардейцев воздушной разведки совершали полеты к Риге. Устремленные к небу шпилье соборов и аэростаты заграждения в три яруса — таким, оно было, небо войны. На подступах к Риге шли жестокие бои. Немцы отчаянно сопротивлялись. Воздух был пропитан гарью пожарищ. В эти дни Журкиной предстояло освоиться в новом экипаже. По просьбе Анвара Гатауллина, ставшего командиром звена и потерявшего в воздушном бою стрелка-радиста, Надю перевели к нему. Недовольный столь неожиданным решением командования, Василий Воропаев отправился в штаб полка. Вернулся обиженный и в ответ на вопрос Надежды лишь молча махнул рукой. Осталась недовольной переводом и Надя. Разумеется, против Анвара она ничего не имела, но летать с Василием Воропаевым уже привыкла, научилась понимать его с полуслова.

В слетанных экипажах не любят замен, настороженно относятся к новичкам, медленно привыкают к ним. Все это было известно Журкиной. Сумеет ли она в экипаже Гатауллина снова найти себя, придется ли ко двору?

Анвар получил новую, только что пригнанную с завода машину. В самолете пахло свежей краской и лаком. Никаких выбоин, царапин, потертостей. Новые, необлетанные самолеты вызывают у летчиков, кроме радости, еще и чувство настороженности. Ведь у крылатых машин тоже проявляются свои особенности, можно даже сказать — характеры.

На первое боевое задание вылетели со штурманом Павлом Хрусталевым. Предстояло сфотографировать Рижский порт.

Их обстреляли зенитки кораблей и береговой обороны. Дважды пытались атаковать мессеры. Вернулись без малейших повреждений. Можно сказать, повезло, и Анвар остался доволен машиной. Командование объявило им благодарность, разведсведения оказались ценными.

У Анвара и Павла за плечами по сто с лишним вылетов на разведку, с ними Надежда чувствовала себя, как за каменной стеной. Действуют в воздухе несуетливо, обдуманно. С такими летать и летать.

Готовясь к очередному полету, Гатауллин и Хрусталева расположились под крылом, а Надя наводит порядок в своей кабине.

К ним подошел начальник связи эскадрильи, старший лейтенант Дмитрий Никулин.

— Куда, Дима, собрался? С парашютом, гляжу, со шлемофоном? — спросил Павел Хрусталева.

— С вами на фотографирование полечу. В виду непредвиденных обстоятельств... Ждут сегодня к нам в полк делегацию из Забайкалья. Так что приказано подменить Надю другим радистом, вот я и решил вместо нее полететь...

— Как это так? — только теперь поняла она, что Никулин не шутит. — Я-то тут при чем?

— При том, что приказано для делегации организовать концерт. Иди к Яше Дрейфусу. Концертная бригада под его началом.

— Постой, Дима! Чепуха какая-то получается! Мы же собрались, настроились на вылет... Да и вообще, я не артистка, в конце-то концов...

— Р-разговорчики, гвардии старшина Журкина! С начальством не спорят! — подражая начальнику штаба полка, шутливо нахмурил брови Никулин.

— Коли такое дело, то лучшего стрелка-радиста мы и не желаем, — пожал плечами Павел.

Гатауллин и Никулин из одних краев: один пермяк, другой вятч. Никулин старше Анвара на десять лет, счетоводом-бухгалтером работал до армии в колхозе.

Когда Никулина представляли к званию Героя, в наградном листе командир полка записал: «Совершил 107 боевых вылетов на разведку, 30 — на бомбардировку живой силы и боевой техники противника. Провел аэрофотосъемку важнейших объектов сосредоточения и передвижения войск и техники врага; сфотографировал под огнем врага 17 крупных участков переднего края и оборонительных рубежей общей площадью 13 тысяч квадратных километров. Награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени и медалью «За отвагу». Вот тебе и бухгалтер!

...Передовая на участке между латвийскими городами Добеле — Ауце встретила их плотным заградительным огнем. В работу немецких зенитчиков не вмешивалась наша наземная артиллерия: чтобы аэрофотоснимки были четкими, наземному командованию был отдан приказ на время артиллерийский огонь прекратить. Истребителей прикрытия им почему-то не выделили.

— Анвар! Первый заход начинаем, как условились, от железнодорожного моста у Добеле. Разворот! — подал команду Павел.

— Разворачивай на боевой! — откликнулся тот. — Как у тебя, Дима, дела?

— В порядке, Анвар! Делайте свое дело!

Никулин стоит, полусогнувшись, высунул голову из верхнего люка, зорко наблюдает. Глаз у него наметан.

— Та-ак, хорошо... Еще чуток доверни влево... На боевом! Включаю фотоаппараты... — докладывает Хрусталева. — Дима, отстукай: четырнадцать сорок три, приступил к выполнению задания...

— Передаю.

А самолет уже летит в сплошных разрывах зенитных снарядов, его швыряет из стороны в сторону. Никулин удивляется, каким образом Анвар ухитряется выравнять машину, вести по прямому курсу. Расстояние между Добеле и Ауце почти сорок километров. «Пешка» пролетает их за 12—13 минут. Первыми двумя заходами приказано сфотографировать расположение своих войск, а уже остальными четырьмя — неприятеля. В общей сложности им от-

пущено на эти шесть заходов час двадцать минут. Риск огромен.

Стрелки приборов мечутся от создаваемой разрывами зенитных снарядов болтанки. Курс, скорость и высоту требуется выдерживать точно — без каких-либо кренов самолета. Ничего хуже нет, чем летать вот так, под зенитным огнем, не маневрируя. Враг стреляет по такому разведчику, как на учебном полигоне. Досадно, что обработавшие с утра немецкую передовую штурмовики не смогли обнаружить и уничтожить эти зенитки! Огненные бутоны возникают и рвутся впереди самолета, по сторонам, под ним и над ним.

— Анвар, на плоскостях и фюзеляже осколочные пробоины! — доложил Никулин.

Удивителен этот Анвар! В опаснейшей обстановке у него словно стальные нервы.

— Сколькo, Пашенька, еще проходов осталось?

— Два, Анвар. Что, устал?

— Что-то больно долгими они кажутся мне... Кофейку бы горяченького сейчас! Ты, Дима, жив?

— Жив, Анвар! Правый элерон разорвало!

— Чувствую, Дима, вижу... Ничего, дорогой, протянем и на одном...

Яркая вспышка! Она ударила в упор — снаряд разорвался, казалось, у самого борта. Загудело в ушах, и Анвару показалось, что самолет словно столкнулся с чем-то в воздухе и начал переворачиваться вверх колесами. Штурвал вырвался из его рук. Анвар поймал его, с силой потянул на себя. Взглянув на левое крыло, он увидел там вместо мотора злоевищий провал, в котором вибрируют, трепыхаются под напором тугой струи воздуха обрывки электропроводки, да за крылом стелется туманной полосой распыляемый бензин...

— Ребята... Меня ранило... — прохрипел в наушниках голос Никулина.

— Потерпи, Дима, потерпи! Отработались мы, поворачиваем домой! — крикнул Анвар и скосил глаза на Хрусталева. Тот сидел побледневший. Его правая рука словно заслоняла от удара коробку командного прибора все еще работающего фотоаппарата. Анвар с трудом вывел самолет из падения, бросил взгляд на левую плоскость и увидел языки пламени. Он подал сектор газа до упора, и мотор сразу же взревел басовой сиреной.

— Паша, что с тобой? — взглянул Анвар на Хрусталева.

— Разворачивай, горим! — надсадно выдал тот, продолжая глядеть на приборную доску.

— Все будет, Паша, в порядке! — закричал Анвар, стремясь развернуть непослушную, теряющую высоту машину. — Дима, как у тебя?

Никулин не ответил.

— Дима! Никулин! Как у тебя? Потерпи, развернись!.. До наших три километра!



— Ответа не было.

Кабина начала быстро наполняться дымом, по полу ползла к ногам жаркое пламя. А самолет никак не разворачивается в нужном направлении, теряет высоту, угрожая вот-вот свалиться в штопор. К горлу от дыма начинает подступать удушье. На миг Анвар растерялся: «Что делать? Прыгать с парашютом? Под нами немцы! Но и самолет катастрофически непослушен... Нет-нет, только не плен!»

— Ребята, что делать? Да ответьте же, черт!

А в кабине горит электропроводка, доносится запах горящего масла.

— Анвар... Прогорает задняя стенка кабины... Там центральный бензобак... Взорвемся... — прохрипел Павел, прикрывая согнутой в локте рукой лицо от огня.

Штурвал раскалился так, что прожигает ладони. Пламя мечется по кабине. В наушниках сплошной шум и треск. Жгучая боль врывается в руки и ноги Анвара. Удушающее тянет горелой резиной...

— Паша-а, прыгай! Дима, ты слышишь меня? Прыгай без промедления!!

Хрусталева сидит, защищая обеими руками лицо от огня. Он не слышит. Анвар потянулся, ударил его по плечу:

— Паша, прыгай!

Тот понял, спросил одними глазами: «А ты?». Анвар помаячил ему: «Я за тобой!»

Продолжая прикрывать руками лицо, Хрусталева поднялся, повернулся к правому борту и с силой рванул красную ручку аварийного сброса фонаря, толкнул его головой. Встречная струя воздуха тут же сорвала фонарь, и он мгновенно исчез. Освежающая прохлада ударила в лицо Анвару, огонь и дым за клубились за спиной. Павел хлопнул на прощание Анвара рукой по плечу, перевалился через край кабины и, объятый пламенем, исчез за бортом.

— Затяни-и!!! — крикнул ему Анвар. Сердце пронзила боль: Хрусталева падал к земле огненным факелом.

— Эх, Пашка-а... — застонал Анвар, пытаясь расстегнуть на себе непослушными пальцами замок привязных ремней. Обожженные руки стали непослушны. Им овладело отчаяние. Сняв ноги с педалей, он уперся ими в пол, руками — в край кабины и рывком попытался подставить себя встречному потоку воздуха, чтоб с его помощью вырваться из плена привязных ремней и замка, но его лишь потнуло, и снова накрепко усадило назад, в кресло. А самолет падает, переворачиваясь с крыла на крыло, в сплошном мелькании сливаются воедино земля и небо.

— Все! Теперь, видимо, все! — выдохнул Анвар.

Кажется, куда-то исчезла, притупилась боль в обожженных руках и ногах, почти не слышен рев мотора. Всем своим нутром он ощущает по-прежнему каждый метр падения к земле, и сердце его, словно хронометр, отсчитывает последние секунды. Взглянул на высотометр: стрелка показывает шестьсот метров...

Он снова попытался расстегнуть непослушными пальцами замок привязных ремней. Не удалось. Тогда схватил бивший его по коленям штурвал обеими руками, нащупал ногами педали. Набрал полные легкие воздуха и заметив, что на высотометре всего пятьсот метров, он с силой потянул штурвал на себя, повернул полубаранку влево и изо всех сил надавил правой ногой на педаль. Увидев впереди на земле, враз выровнявшейся по горизонту, затянутые маскировочной сетью штабеля зеленых ящиков с артиллерийскими снарядами, он направил самолет к последней цели.

Это произошло 10 октября 1944 года близ города Дობеле, над передовой. С земли видели загоревшийся в небе советский разведчик, наблюдали за его падением. От машины отделился человек, падавший огненным факелом. На высоте триста метров объятый пламенем самолет вдруг изменил траекторию своего падения. До земли он не долетел, полыхнул взрывом и рассыпался огненными обломками. И рвались на том месте артиллерийские склады, полыхало огромное зарево.

...Перебинтованного, с трудом пришедшего в себя Гагаулина долго везли на автомашине. Наконец он увидел аэродром и стоявшие на нем самолеты. Его ввели в блин-

даж. За столом три немецких офицера. Они с нескрываемым интересом разглядывали его.

Седой полковник, прочитав какую-то бумагу, протянул ее молоденькому лейтенанту, что-то сказал. Лейтенант встал из-за стола, поставил Анвару стул, предложил сесть.

— Ваша фамилия, ваше звание и должность? — обратился он на русском языке с чуть заметным акцентом.

Анвар опустил к полу глаза, потом начал разглядывать свои забинтованные руки, лежащие на коленях.

— Вы меня слышите и понимаете? Или не желаете отвечать?

Анвар еще ниже пригнул голову. Он решил молчать. И вдруг его обожгла мысль: «Почему они спрашивают его фамилию, звание и должность, когда все это указано в его удостоверении? Не такие уж они дураки, чтоб не очистить его карманы, когда он лежал без сознания на земле?» И тут он вспомнил, что вылетел в своей старой гимнастерке, а новую отдал в стирку, и потому все документы остались в тумбочке, куда он их вчера вечером положил!

— Возможно, вы желаете пить? — снова участливо спросил лейтенант. Откупорив бутылку минеральной воды, он наполнил стакан и протянул Анвару.

От жажды сохлось во рту, запеклись обожженные губы. Анвар принял обеими руками стакан, выпил.

— Зер гут. Возможно, еще?

Анвар утвердительно кивнул головой.

— Вам стало полегче? А теперь господин полковник и господин майор желают задать вам несколько вопросов. Вы наш достойный воздушный противник, поэтому заверяем вас, что не сделаем вам ничего плохого и не будем вытягивать из вас военные тайны. Они нам и без вас известны.

Анвар не шелохнулся, сидел с опущенными к полу глазами. Вода с солоноватым привкусом подействовала на него освежающе. Боль в голове поутихла, но ожоги на теле и руках продолжали жечь каленым железом. От сапог и кожаной куртки пахло горелым.

— Мы видим, что вы решили молчать. Напрасно! Мы не гестапо. Мы сами можем ответить на эти вопросы... — переводчик сел за стол рядом с полковником, усмехнулся.

Полковник тоже усмехнулся и согласно кивнул головой. — Мы знаем, что вы из состава девяносто девятого гвардейского Забайкальского отдельного разведывательного авиаполка. Не так ли? — бросил в упор лейтенант.

Сердце Анвара ушащено забилося. Откуда немцы знают о полном наименовании его части? Чтобы не выдать своего волнения, он еще крепче стиснул зубы, склонил ниже голову.

— Кто вы такой — мы тоже скажем вам в свое время. А пока зачитаем препроводительный рапорт. Итак, «Десятого октября в двенадцать сорок три по берлинскому времени со стороны неприятеля, на высоте двух с половиной тысяч метров, появился советский разведчик типа Пе-2 и начал воздушную разведку на участке линии обороны между Добеле и Ауце. По нему был открыт интенсивный зенитный огонь. В тринадцать пятнадцать прямым попаданием снаряда он был подбит, загорелся и потерял управление».

На высоте пятьсот-шестьсот метров выбросился один из членов экипажа с парашютом. Он упал в расположение второго батальона и оказался мертвым. Документы и награды его прилагаем. Полетных карт при нем не обнаружено. На высоте сто пятьдесят-двести метров самолет-разведчик взорвался в квадрате семнадцать-шестнадцать, в шести километрах юго-западнее Добеле, вызвав пожар на складе боепитания. В момент взрыва самолета из него был выброшен второй член экипажа, который при падении пытался раскрыть парашют. Последний не успел наполниться воздухом, и человек упал на лес. Поисковая группа со служебной собакой обнаружила его в бессознательном состоянии.

Купол парашюта и стропы запутались в ветвях большого дерева и тем воспрепятствовали удару о землю. Документов, наград и полетных карт при нем не обнаружено,

После оказания первой медицинской помощи пленный советский летчик направляется в ваше распоряжение...» Так было дело?

Анвар не шелохнулся и теперь.

— Как видите, ваше задание и ваша часть нам хорошо известны. Мы не будем требовать от вас шифры, коды, позывные, которые в настоящее время уже изменены. Нам хочется знать, специально ли вы направили самолет на склад боеприпасов, или это случилось от вас независимо?

Полковник, поглядывая на Анвара, что-то снова спросил у переводчика. Тот утвердительно кивнул головой. Указав на разложенные на столе ордена и полубогоревшие документы, лейтенант сказал:

— Это награды и документы вашего штурмана, старшего лейтенанта Хрусталева Павла Ивановича. А вы командир звена, гвардии старший лейтенант Анвар Гатауллин!

Пленный вздрогнул и в удивлении поднял на лейтенанта глаза.

— Вы, кажется, удивлены? Существует так называемое досье на ваш полк и его личный состав. Вот, можете посмотреть. Очень жаль, что вы недостаточно знаете немецкий язык, а то бы смогли сами все прочитать. У вас плохо учат немецкому языку, и это печально...

Переводчик поднялся из-за стола, подошел к тумбочке, достал бутылку с коньяком, плеснул в стакан.

— Ободритесь!

Анвар отрицательно мотнул головой. Ему снова захотелось пить, но он не стал просить об этом переводчика. Поставив на стол стакан с коньяком, тот снова уселся на свое место.

— Господин полковник спрашивает, почему вы так упорно молчите? Напрасно! Мы знаем, что вы родились в городе Перми в тысяча девятьсот двадцать третьем году, окончили в сорок втором году Омскую военно-авиационную школу летчиков...

Анвар облизнул губы. Он был потрясен такой осведомленностью немцев.

— Интересуетесь, что еще о вас написано в этом досье? Пожалуйста, могу прочитать: «В самолетовождении достиг мастерства, успешно провел пятнадцать воздушных боев...»

— Вы не слушаете меня? Мы понимаем ваше состояние. Успокойтесь, командир вашего полка Щенников Николай Павлович не узнает о содержании этого разговора.

Потрясенный, ошеломленный, Анвар не слушал переводчика и не смотрел на немцев, а уперся глазами в пол, стиснув зубы.

— ...Следовательно, если ваш штурман Павел Хрусталев сгорел в воздухе, а вы сидите перед нами, значит, третьим членом экипажа был сержант Сергей Клименков?

Анвар, услышав это, понял, что о гибели Никулина они все же не знают. Пусть будет так. Он утвердительно кивнул головой.

— Хорошо. Теперь господин полковник желает перейти к деловому вопросу. Он говорит, что высоко ценит достойных противников и храбрых солдат, считает вас доблестным летчиком и предлагает вам перейти на службу великой Германии. В случае вашего согласия, вас немедленно отправят в госпиталь люфтваффе, затем месячный санаторий...

— Не спешите с ответом. Подумайте, для большевиков вы уже изменник и навсегда потерянный человек! Они предадут анафеме оказавшихся в плену. Вам это известно? Подумайте о своем будущем, о ваших близких!

Анвар поднял глаза на переводчика и твердо сказал: — Переведите: Анвар Гатауллин никогда не предаст свою Родину! Лучше умру в концлагере.

Лейтенант перевел слова пленного полковнику.

В голосе того прорвались резкие ноты, но натренированность взяла верх, переводчик постарался выдержать заботливый тон:

— Окончательный ответ, учитывая ваше состояние, мы ждем завтра. А сейчас вас поместят в отдельное место, накормят.

Он подошел к двери, вызвал двух солдат. Солдаты с пленным направились к выходу.

— Момент, господин Гатауллин! — спохватился переводчик. — Еще один вопрос: действительно ли у вас в полку летает девушка, стрелок-радист? Как ее звать? В чем она экипаже?

— Об этом мне ничего не известно, — хрипло ответил Анвар и вышел из блиндажа в сопровождении конвойных

Тюрьма в окрестностях Риги, концлагерь в Любеке. Он боролся за то, чтобы выжить, вернуться к своим. Случилось так, что он уцелел и мог бы снова летать.

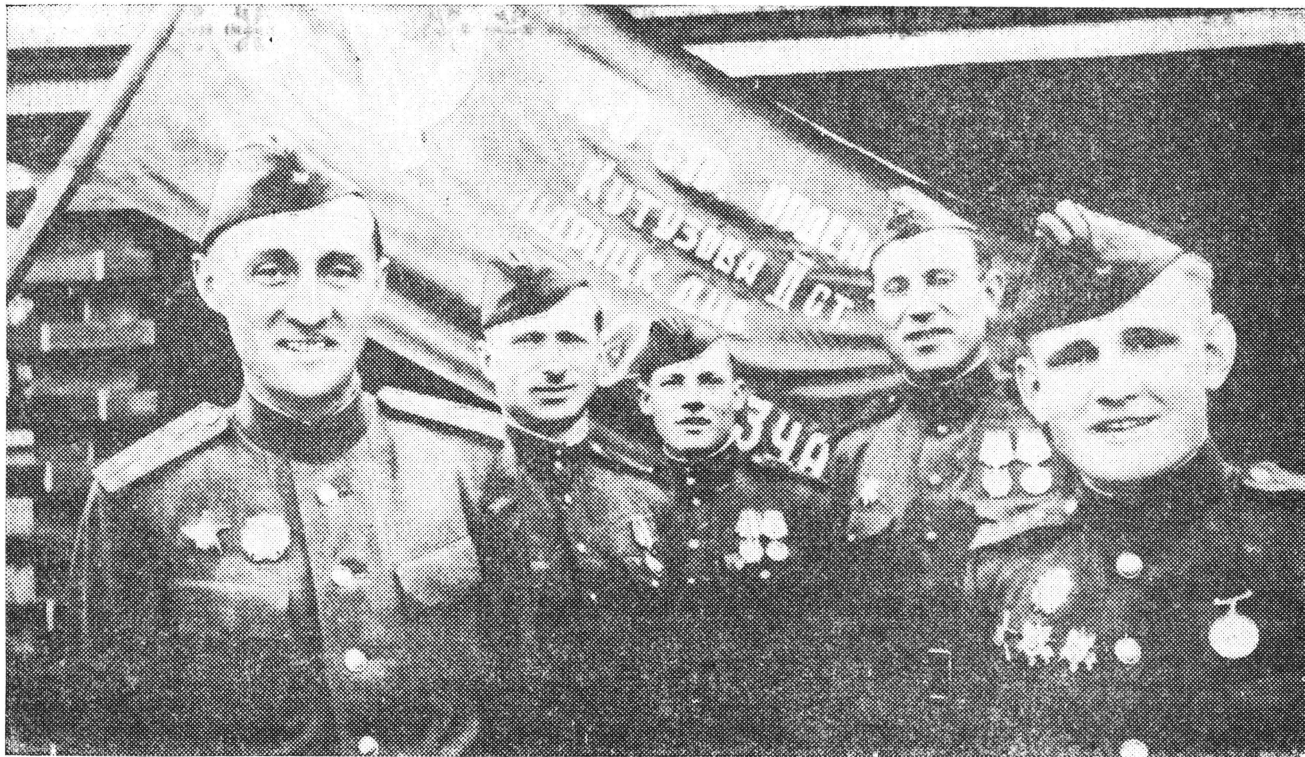
В первый побег Анвара не взяли, потому что он тяжело кашлял, что могло выдать. Анвар чуть не плакал, разрезая для товарищей два ряда колючей проволоки. Наутро побег обнаружили. Через несколько дней ребят поймали. Второй побег он организовал сам. Убрали часового, замели следы, почти десять ночей добирались до линии фронта.

Война закончилась для него на том роковом 110-м боевом вылете. Только в августе 1945 года Гатауллину стало известно, что Указом Президиума Верховного Совета СССР ему и Павлу Ивановичу Хрусталеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В полку его считали погибшим, и когда он вернулся в строй, радость друзей и товарищей была безгранична.

Через годы он приехал на братское кладбище города Добеде к памятнику, установленному его боевым побратимам Павлу Хрусталеву и Дмитрию Никулину. Он поклонился праху тех, с кем шел на подвиг.

Литературная обработка Э. Молчанова.





Герои последнего рубежа войны у Знамени Победы. Слева направо: комбат К. Самсонов, знаменосцы М. Кантария и М. Егоров, ротный командир И. Сьянов и комбат С. Неустроев. (Снято 20 июня 1945 года на Берлинском аэродроме перед отлетом в Москву на Парад Победы.)

БЕРЛИН, МАЙ СОРОК ПЯТОГО

Юрий ЛЕВИН

Фото Владимира Гребнева

Записки фронтового корреспондента

Тогда, в мае сорок пятого, многим из нас чуть-чуть перевалило за двадцать, а сегодня...

Сегодня нашей Победе уже сорок пять, и мы, фронтовики-победители, идем на праздник-торжество с седыми шевелюрами (если они у кого-то еще сохранились) и с внуками.

Неужели уже 45? Не хочется верить... Как быстро утекли годы. Может быть, так произошло оттого, что были они, годы послевоенные, натужными и неустроенными. Мы спешили разгрести разруху, лихорадочно клали кирпичи, возводили, пытались даже время обогнать, словом, мчались вдогонку жар-птице, которая вот-вот должна одарить нас чем-то светлым, желанным. Но так и не настигли то лучезарное будущее, а догнали свою старость.

Жаль, однако время не остановить. Только память может его притормозить, размотать ленту прожитой жизни назад...

А для чего? Ответ прост: чтобы новые поколения прикоснулись к нашему прошлому; чтоб доброе и славное, а оно все-таки было, не потонуло в архивных анналах; чтоб

юноши восьмидесятых приняли от нас и унесли дальше эстафету мужества. Вот чего нам хочется!

Итак, надеясь на память, берусь за перо. А если она вдруг станет «пробуксовывать», что тогда? И опять же есть выход: я ведь журналист, и давнишний — уже пятьдесят лет служу газете, и в войну был военным корреспондентом, с войсками отступал, плутал по лесам и болотам тверской земли, мерз в окопах Сталинграда, а потом от самой Волги протопал до берлинской Шпрее и у рейхстага просалютовал из своего трофейного парабеллума в честь Победы. Белофлагий Берлин был тогда оглушен нашей пальбой — стрелял весь Первый Белорусский фронт, говорили, что и маршал Жуков тоже салютовал.

Так вот, поскольку я корреспондент, то у меня постоянно при себе записные книжки. И почти все, что видел и пережил, строками легло в мои фронтовые блокноты. Вот они-то и выручат память, если она в каком-то месте даст сбой, помогут воскресить забытое. А если и записные книжки окажутся беспомощными (мало ли, ведь и им досталось от непогоды и окопной слякоти), тогда выручат

друзья-однополчане. Сниму трубку и позвоню любому из живых, скажем, Степану Неустроеву, да, тому самому комбату, который на последнем рубеже войны ворвался со своим батальоном в рейхстаг и доконал там почти двухтысячный гарнизон фашистов, и спрошу: «Скажи-ка, друг, а какая погода была в Берлине в то утро 2 мая, когда немцы с поднятыми руками выходили из подземелья рейхстага?»

Жаль только, что приходится общаться с полковником в отставке Неустроевым по телефону. Было бы куда лучше, если бы жил в Свердловске, ведь уралец он, отсюда на войну ушел и вернулся сюда после войны, прожил несколько лет, затем подался к морю, чтоб водой целебной да солнцем южным раны свои успокоить. Редко теперь навещает, а скучает по родной Талице, которая в Сухоложском районе, да и по Березовску, где жил и работал. Как-то позвонил он мне и попросил: «Поезжай-ка в Талицу, погляди на нее и напиши мне обо всем, что увидел». Исполнил я просьбу Степана, поехал. Добрался до Сухого Лога, там как-то остановился, чтоб уточнить маршрут, и спросил у пожилой женщины: далеко ли до Талицы?

— Поди, верст тридцать будет, — ответила и собралась было идти дальше, но вдруг, приблизившись ко мне, спросила: — а вы к кому в гости едете? Может, к Неустроеву, который до Берлина дошел и их главный дом взял? Так Неустроева там нету, живет, кажись, у Черного моря... А дом-то тот, который он взял, как-то по-чуждому зовут...

— Рейхстаг.

— Во-во! Подумать только, и это Андреев сынок Степан, наш талицкий, взял их рестаг... Добрый был малец, смысленный...

А что, в точку попала женщина: был в детстве смысленным и в войну воевал с головой. В памяти воскресает утро 30 апреля. Капитан Неустроев стоит у полуподвального окна «дома Гимmlера», которым накануне овладели наши. Комбат напряжен, его взор устремлен в то здание, которое массивной серой глыбой основательно расположилось на Кенигсплац (Королевской площади). Из всех его окон-амбразур пока молчаливо торчали стволы пулеметов. Комбат знал, оттого и сердце утешенно стучало, что вражьи стволы заговорят огнем, когда батальон вынырнет на площадь, чтобы рвануть к рейхстагу.

Так оно и случилось...

Не собираюсь дальше подробно рассказывать о том, что происходило на обугленной и изодранной снарядами и минами Королевской площади, ибо об этом много написано. Скажу лишь, что батальон достиг рейхстага во второй половине дня. Почему же так по-черепаши двигались роты? Ведь от «дома Гимmlера» до рейхстага всего-то чуть больше трехсот метров. Представить трудно, что такое расстояние удалось преодолеть передовой роте, которой командовал парторг старшина Сьянов, через шесть часов. Шесть часов ползли по площади наши солдаты — уму не постижимо!

Я это видел своими глазами, наблюдая из «дома Гимmlера», стены которого колотились от снарядов, посылаемых немецкими батареями. Командир полка полковник Зинченко нервничал. «Ну скорее, скорее!» — шептал он, наблюдая в стереотрубу. А они, солдаты батальона Неустроева, головы не могли поднять. Разнокалиберный огонь пригвоздил их к асфальту. Зинченко обращается к артиллеристам: «Ударьте еще разок по этому каземату!» И прикрытая орудийным огнем рота Сьянова продвигается еще метров на десять...

Что же Неустроев? Как он действовал в этой сложнейшей ситуации? Кто-то из штабистов-наблюдателей клял его: ну чего топчется на месте, бросок надо делать, бросок!

Неустроев не слышал этих возгласов, но спиной чувствовал неслестные слова в свой адрес. Однако поступал по своему разумению. Чтоб сделать бросок, надо оторваться от земли и подняться в рост. Этого-то и ждали фашисты. Тут бы они смертоносной косой прошлись по батальону. Нет, комбат не пошел на такое, он решил не терять людей на площади, ему нужен был сильный батальон для решающего боя внутри рейхстага. И он внушил командирам рот:

вгрызаться в землю, если даже под животом асфальт, и ползти так, чтобы ни одна фрицева дуля никого не зацепила. И бойцы ползли, используя для прикрытия каждый мало-мальский бугорок или воронку. Полз и комбат, и замполит лейтенант Берест, и заместитель по строевой капитан Ярунев, и начальник штаба старший лейтенант Гусев — все нацелились на рейхстаг. А он без устали поливал огнем. И если уж совсем немоготу было двигаться, батальон залегал...

Ныче, когда пишут о войне, иные знатоки-умники обязательно пытаются кого-то лягнуть, черной краской мазнуть, утверждая, что наши, мол, безрассудно лезли на немецкие позиции, этаким нахрапом, что командиры не щадили людей. А вот я свидетель обратного: прежде чем идти в наступление, каждый командир думал о людях и строил свой план атаки так, чтобы потери были самыми минимальными. Вот и Неустроев так поступал. Он ведь не лез напролом, не кидался вперед очертя голову, а мастерски использовал истерзанную и изрытую Королевскую площадь, все ее воронки, канавы и выбоины, чтобы укрыть батальон от вражьего огня.

Припоминаю одну из бесед командующего войсками 3-й ударной армии генерала Василия Ивановича Кузнецова с бойцами одного из стрелковых полков. Было это перед форсированием Одера. Речь зашла о предстоящем наступлении на Берлин. Один боец в запале сказал: «Умрем, но в Берлин придем!» А командарм взглянул на солдата и спросил: «Если умрете, то кто же в Берлин придет? Нет, товарищи, умирать нам не надо, а вот в германскую столицу мы с вами все должны прийти...»

И 3-я ударная действительно пришла в Берлин.

Итак, хотя и очень медленно, но батальон все ближе и ближе подбирался к рейхстагу. А впереди его двигался, как бы плыл, красный флаг...

В этом месте я собираюсь рассказать о человеке, имя которого, к сожалению, мало кто знает. Ну спросите любого: кто водрузил красное знамя над рейхстагом, вам назовут Михаила Егорова и Мелитона Кантария. Все верно. Но...

Называю связного капитана Неустроева младшего сержанта Петра Пятницкого. Он первым высочил через окошко из подвала «дома Гимmlера» и устремился к рейхстагу. На ходу развернул красный флаг. Огонь колотил площадь, а Пятницкий, словно непробиваемый, с трепещущим флагом, что есть сил бежал и бежал. Когда бежать не мог, полз, но знамя не опускал на землю, а держал его одной рукой высоко над головой. И получалось, что оно вроде само двигалось по площади.

Все видели флаг Пятницкого — и те, кто полз к рейхстагу, и те, которые на КП полка находились. Петр чудом прорезался сквозь адский огонь. Солдаты двигались следом за знаменосцем. Когда он вскочил на первую ступеньку гранитной лестницы главного входа в рейхстаг, громовое «Ура!» прокатилось по Королевской площади.

Фашисты усилили пальбу. Били минометы и орудия. Не было спасения и от пуль. Батальон снова залег.

Пятницкий ничего этого не видел. Он уже бежал вверх по лестнице. Вот и видна дверь главного входа в здание. Она открыта настежь. Надо проскочить внутрь и укрепить стяг над главным входом. Надо...

Из черного дверного проема полоснуло огнем. Упал Пятницкий. И красный флаг тоже свалился.

К мертвому знаменосцу бросился командир отделения Петр Щербина. Он увидел окровавленную грудь друга и руки, свешившиеся в древо флага. Щербина поднял флаг и укрепил его на одной из шести колонн перед входом в рейхстаг.

Хочу назвать тех фронтовых репортеров, которые первыми рассказывали о Пятницком. Это — Василий Субботин, ныне известный поэт и прозаик, и покойный Владимир Савицкий, тоже писатель.

Еще раз подчеркиваю: у нас один самый святой флаг — Знамя Победы. Это так. Но надо знать и помнить, что в рейхстаг двигались десятки знамен. Их несли многие, кто шел на этот последний штурм. Даже фотокорреспондент



Так, зарываясь в асфальт, фашисты сооружали неприступные рубежи
Берлинцы покидают укрытия и возвращаются в свои жилища

Наши девушки — Вера Загура, Надя Сушко и Фрося Григорчук — благодарят танкистов за освобождение из неволи

— Огонь по рейхстагу! — командует гвардии сержант Али Гусейнов.

Берлинская улица (2 мая 1945 г.)

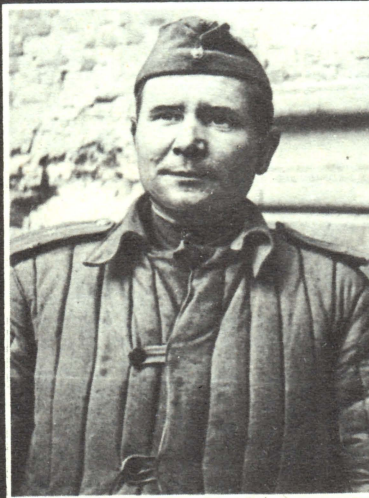


Фотография на память. Фронтовые корреспонденты (слева направо) Ю. Левин, П. Брызгалов и Г. Григорьев у Бранденбургских ворот

Санинструктор сержант Н. Кузьмин оказывает помощь раненому немцу

Лишившиеся крова

Командант рейхстага полковник Ф. Зинченко



Отвоевались

У трупа Геббельса. Дает показания пленный адмирал Фосс

нашей армейской газеты «Фронтовик» старший лейтенант Владимир Гребнев, который рвался в рейхстаг, чтобы запечатлеть бой внутри здания, но ему на это не дали разрешения, тоже имел при себе кусок красной материи — авось пригодится для флага!

Да, многие тогда шли со своими стягами, но не всем, к сожалению, суждено было осуществить мечту. И все же 30 апреля, в канун Первой мая, в разных местах рейхстага появилось немало знамен. Назову некоторые.

Первое — это флаг Пятницкого-Щербины. Неустроев называет его батальонным знаменем. Справедливо!

На одной из башен рейхстага водрузила красный флаг группа разведчиков капитана Владимира Макова. В нее входили старшие сержанты Лисименко, Минин, Загитов.

Кроме батальона Неустроева на рейхстаг наступали еще два батальона — старшего лейтенанта Самсонова и капитана Давыдова. Так вот, у батальона Самсонова тоже был свой флаг. Его принесли в рейхстаг младший сержант Михаил Еремин и рядовой Григорий Савенко.

Взвилось над рейхстагом и знамя лейтенанта Рахимджана Кашкарбаева и рядового Г. Булатого. Сержант П. Смирнов, рядовые Н. Валенков и Л. Сомов тоже укрепили свой стяг. Принес флаг в рейхстаг и артиллерист Б. Япаров. Все они из разных батальонов и полков 3-й ударной армии.

А вечером 30 апреля — в 21.50 на самой высшей точке рейхстага — на куполе, которого сейчас нет (по воле каких-то господ его срубили), появилось Знамя Победы. Его водрузили разведчики из 756-го стрелкового полка сержант М. Егоров и младший сержант М. Кантария. Хочу добавить к этим двум фамилиям еще одну — Алексея Береста, лейтенанта, заместителя командира батальона по политчасти. Это он возглавил группу автоматчиков и пробивал дорогу знаменосцам на крышу рейхстага. Береста мало кто упоминает, когда речь идет о Знамени Победы. И зря! Он — «неустроевский комиссар» — так организовал отражение немецких атак на пути продвижения вверх по лестничным маршам Егорова и Кантария, что их не тронула ни одна пуля. Знаменосцы, поднявшись на крышу, увидели громадную статую — всадника на коне с протянутой вперед рукой. На ней и укрепили знамя. Получилось вроде здорово: всадник с красным стягом. Бересту не понравилась такая картина: фриц с нашим знаменем — не годится! Посмотрел замполит вокруг и определил, что надо взбираться на купол, именно там самое подходящее место для Знамени Победы. Так и сделали знаменосцы: поднялись еще метров на тридцать вверх. Нелегко далась им эта высота, пришлось продвигаться по поруженным ребрам каркаса купола, да и фашисты били из пулеметов аж от Бранденбургских ворот.

Но операция блестяще завершилась: поздно вечером Берест, спустившись вместе со знаменосцами с крыши, доложил комбату Неустроеву, что Знамя Победы укреплено надежно, ремнями, и простоят сотни лет!

Воинский подвиг Егорова и Кантария был отмечен Золотыми Звездами Героев Советского Союза, а Береста обошла награда. Представляли к званию Героя, но не присвоили. Говорили, что какой-то высокий чин самолично отложил в сторону его наградного лист., мол, со знаменем на крышу направлялись двое, а Берест — третий, значит, лишний. Вот такая логика...

Михаил Егоров однажды, уже после войны, сказал мне: «Обидно за Алексея Прокопьевича. Я готов отдать ему свою Звезду... Храбрый человек! Если бы не он, кто знает, как бы мы с Мелитином на ту надрейхстаговскую верхотуру забрались бы...»

И не только одного Береста обошли. Пятницкого тоже. Разве он не достоин самой высокой награды? А ведь его — первого знаменосца — ничем не отметили и до сих пор никак не увековечили его имя.

Кое-кто сегодня пытается сеять сомнения: а водружались ли вообще в ходе штурма рейхстага Знамя Победы? И даже утверждают, что оно было поднято над рейхстагом лишь 2 мая, уже после капитуляции немцев. Я скажу так, как об этом говорят ныне здравствующие участники

тех боев. — неправда это. Зачем наводить тень на плетень? Все произошло в ходе боев батальона Неустроева внутри рейхстага.

Есть и иные кривотолки: вот, мол, один знаменосец русский, а другой грузин, значит военное начальство это сделало в угоду Сталину. Ничего подобного: ни командир 150-й стрелковой дивизии генерал Шатилов, ни командир полка Зинченко, ни командарм Кузнецов никакого отношения не имели к назначению знаменосцев. А дело было вот как. Комполка приказал командиру полковой разведки капитану Василию Кондрашову выделить двух разведчиков для водружения знамени. Капитан выстроил перед полковником больше десяти человек: мол, все смельчаки, выбирайте! Зинченко сам не стал этого делать, а повторил приказание: нужны только двое! И тогда Кондрашов назвал Егорова и Кантария. Почему их? Ну, видимо, хотя бы потому, что в боях на улицах Берлина они отличились сноровкой, умением ловко проникать в труднодоступные места, которых в большом городе предостаточно. Да и друзьями они были закадычными, еще с Польши шли плечом к плечу, часто отправлялись на разведку в пару. Вот и вся правда!

Интересная, на мой взгляд, и существенная деталь: тогда, в мае 45-го, нам, участникам и свидетелям того поистине исторического события, к которому мы шли почти долгих четыре года, и в голову не приходила мысль о национальной принадлежности наших парней-знаменосцев. Мы от души радовались факту — нашему знамени с серпом и молотом и звездой над их рейхстагом, мы восхищались подвигом отважных разведчиков. Сегодня же вдруг кто-то пытается святое и правое дело очернить, обляпать грязью. Напрасно!

Чтобы до конца все было ясно, видимо, следует прояснить историю возникновения Знамени Победы.

Мысль о знамени родилась в штабе 3-й ударной армии. Военный совет распорядился поднять его над рейхстагом. А кто это должен был сделать? Та дивизия, которая первой овладеет зданием. А дивизий в армии девять. Вот и сделали девять знамен.

И каждое пронумеровано. Знамя, которое 21 апреля, в тот самый день, когда воины 3-й ударной армии завязали бои на окраине Берлина, попало в 150-ю дивизию, было помечено цифрой «5». Ну, а дивизия через несколько дней передала знамя в 756-й стрелковый полк, поскольку он вплотную подошел к рейхстагу и начал его штурм.

Сам комдив постоянно связывался с полковником Зинченко и непременно спрашивал: где знамя?

— У Неустроева, — отвечал комполка. — Пробивается на крышу...

Однако возвратимся на Королевскую площадь. Перед входом в рейхстаг уже реет наш красный флаг. Рота Сьянова вот-вот ворвется в здание. А на правом фланге худо: вторая рота никак не может подняться в атаку. К ней кинулся лейтенант Берест и помог бойцам одолеть страх. Рота вместе с замполитом батальона ринулась вперед.

Рейхстаг вмг поглотив батальон. Площадь опустела, стала недвижимой. Только что она шевелилась, жила — и враз никого. Жутковато стало на КП полка: что там, за толстенными стенами? Полковник Зинченко побледнел, и лицо как-то сразу вытянулось, и желваки на щеках задрогали. Молчит и нервничает. Шутка ли, целый батальон скрылся с глаз, словно канул в пропасть. В рейхстаге больше пятисот комбат — можно и залпуть... Кто-то, стоявший позади полковника, сострил:

— Заседает Неустроев... В парламент же попал...

Зинченко обернулся, но остряка как ветром сдуло.

— Кто про парламент вспомнил?

Никто не ответил полковнику. Чертыхнулся Зинченко и тут же распорядился: протянуть провод в рейхстаг! Связисты бросились на площадь.

А что же все-таки происходило в рейхстаге? Этого никто на КП не знал. Только Неустроев мог бы доложить полковнику обстановку, а он там, в серой каменной глыбе. Но если честно говорить, то и комбат толком пока еще ничего не смог бы сказать командиру полка.

Рейхстаг встретил Неустроева не по-парламентски — крошечной темнью (окна замурованы, электричества нет) и автоматной дробью. Мрак окутал весь батальон. В такой склеп Неустроев попал впервые. Как тут воевать?

— А ну, ломани кто-нибудь окно! — крикнул комбат.

Солдаты прикладами ударили по кирпичам — и да здравствует свет! Ну, а затем началась война, о которой Неустроев, гостивший у меня совсем недавно, сказал так: «Страшно вспомнить... Не хочу и во сне такое увидеть... Давид не будем об этом».

Ну что ж, не будем. Скажу только, что всю предмайскую ночь и весь праздничный день рейхстаг так грохотал, что даже его толстые стены колотились и крошились. И начался пожар, и поползло пламя по этажам, по стенам, по стеллажам, по сафьяновым диванам и креслам... Огонь цеплял и людей... Вот такая война — на два фронта: с фашистами и с пожаром...

Я не выдержал и спросил Неустроева: а все-таки, как же воевать в пламени, может, лучше было бы на время вывести из рейхстага батальон?

— Ты что, оставить фрицам рейхстаг?! Особенно в момент, когда над нами развевалось Знамя Победы! Задача оставалась прежней: ни шагу назад! Я бегал из роты в роту, чтоб подбодрить людей, изнуренных до крайности. Многих не узнать было: лица сажей да копотью покрыты, а одежда превратилась в обгоревшие лохмотья. У меня у самого руки усеяли пунцовые волдыри. Мне казалось, что вот-вот упаду. Но бойцы смотрели на меня. Я обязан был выстоять. И мы еще злей продолжали сражаться...

Еще одно имя героя последнего боя я обязан назвать, тем более, что и его мало кто знает. Это — Николай Самсонов. На войну, как и Неустроев, ушел из Свердловского пехотного училища.

Так вот, старшему лейтенанту Самсонову (однофамильцу знаменитого комбата Константина Самсонова, который тоже штурмовал рейхстаг) было приказано во главе роты проникнуть в рейхстаг и потушить там пожар. Кроме этого, Самсонов назначен был дежурным по рейхстагу. Да-да, дежурным! Никому больше не доводилось быть в такой роли — Самсонов единственный!

Трудно было пробиваться роте через Королевскую площадь. Редели ее ряды. Раненых подбирали санитары и возвращали обратно за Шпрее. Но многие, особенно легко раненные, в тыл наотрез отказывались отправляться, рвались в рейхстаг.

Рота, ворвавшись в здание, сразу же накинута на огонь. Спросите, чем тушили? Почти голыми руками. Ни брандспойтов, ни огнетушителей не было. Тушили огонь всем, что попадалось на глаза. А глаза дымом да пеплом слепило. Часто солдаты глушили огонь своей одеждой. И пожар все-таки был остановлен.

Кстати сказать, после того боя Самсонов как-то исчез из поля зрения. О нем просто забыли, и он не подавал голоса. Ведя поиск героев штурма Берлина, я наткнулся на имя дежурного по рейхстагу — где же он? Неустроев пожимал плечами: неужели погиб? Но, как говорят, кто ищет, тот находит. И нашелся Самсонов. Мы его искали за тридевять земель от Урала, а он преспокойно жил себе все послевоенные годы и сейчас живет на Первомайской улице в Свердловске. Жил и помалкивал.

И сейчас не словоохотлив Николай Васильевич. Скромный он человек, живет тихо, спокойно. Другой бы на его месте не раз бы голос подал: мол, знаете, кто рейхстаг спас от сожжения?.. И верно, не дал дотла сгореть — ни людям, ни германскому строению! Но Самсонов не приучен стучать себе в грудь. Была война — воевал, как все. В пешем строю тысячи верст протопал. Да что и говорить, отведал командир-пехотинец всякой беды. До сих пор по ночам ноют рубцы на теле — отметины войны.

— Воевали, как могли, — сказал как-то мне Николай Васильевич. — Силенка была, ведь все мы молодые были и ответственность имели.

Вот именно — ответственность! Верное слово. В нем заключено многое — и героизм, и мужество, и смелость. Подумать только: до Победы было «четыре шага», а до

смерти — и того меньше, но никто не думал о смерти, Победой жили все — командующий и солдат, комбат Неустроев и дежурный по рейхстагу Самсонов...

Итак, Победа была рядом, здесь, в рейхстаге. Батальон всей своей силой, всеми огневыми средствами навалился на врага. Трещали стены комнат, рушились потолки — нигде фашистам не было спасения. И они не выдержали натиска и нырнули в подземелье — в рейхстаге подвалы глубоководные. Забрались туда и притихли.

Вдруг откуда-то потянуло приятным запахом шей. Точно — наши русские щи. Из-за колонны показался командир хоззвода лейтенант Власкин. Неустроев удивился:

— Ты, Власкин, как сюда пробрался?

— По-пластунски да перебежками, товарищ капитан. Щи и каша в целости доставлены.

И, кажется, только сейчас вспомнил комбат о Первомае.

— Братцы, — обратился Неустроев ко всем, кто был в этом огромном зале на первом этаже рейхстага, — с праздником вас, с Первомаем!

«Ура!» наполнило зал.

— А нельзя ли чарочку по случаю праздничка? — доносилось до Неустроева.

— Лейтенант Власкин, что скажешь? — комбат посмотрел на командира хоззвода.

— Будет! — громко, чтоб все слышали, произнес Власкин.

Потом несколько праздничных слов сказал Берест.

— Нет, вы только подумайте, где нам довелось сегодня встретить Первомай. Наша армия пришла в Берлин. Это же здорово! Друзья мои, запомните этот час. Все запомните: и этот зал германского парламента, и лейтенанта Власкина — кормильца нашего, и своего комбата в обгорелом ватнике. Запомните поименно всех, кто пришел в рейхстаг, кто не дошел до него... Победа рядом. Она здесь, в этом здании. Мы ее должны добыть именно сегодня, в наш первомайский праздник...

Давно солдаты так не били в свои огрубевшие ладони — в охотку аплодировали.

— Спасибо, Алеша, — Неустроев жал руку Береста. — Ты говоришь, а у меня шел мороз по коже. Где ты только такие душевные слова берешь? Спасибо, комиссар!

Что и говорить, повезло Неустроеву на замполита: словом был силен и делом крепок. Вечером 1 мая, когда вдруг из подземелья вынырнул белый флаг, снова потребовался Берест. Немцы запросили переговоры, но с условием: готовы их вести только с генералом или полковником, видно, думали, что в рейхстаг ворвалась целая советская дивизия. Неустроев, хитровато прищурив глаза, взглянул на Береста.

— Ну-ка, Леша, скидывай свой ватник и живо брейся. Будешь полковником...

— Степан Андреевич, я все-таки лейтенант. И стал, между прочим, совсем недавно.

— А разве полковником не сможешь? Твои, брат, плечи любое звание выдержат.

Бересту понравилась идея комбата. Он тут же приступил к делу: брился, чистился. Откуда-то появилась трофейная кожаная куртка, которая удачно легла на могучие плечи «полковника». Когда все было готово к переговорам, у самого спуска в подвал раздался звонкий голос начальника штаба батальона, чтоб немцы слышали: «Товарищ полковник, гарнизон рейхстага...» Мол, знайте, нас тут много.

По ступенькам спустился вниз втроем: высокорослый и широкоплечий Берест, его «адъютант» — низенький, щупленький Неустроев и молодой боец Ваня Прыгунов, кое-как говоривший по-немецки. Перед входом в подвал Берест вдруг попросил комбата снять телогрейку, одетую поверх кителя.

— Зачем?

— Пусть фрицы ордена видят и знают, с кем имеют дело.

И верно, когда появились в расположении врага, фашисты частенько посматривали на грудь низкорослого адъ-

ютанта, видимо, гадали: а сколько же орденов у самого полковника, ежели у адьютанта — пять...

Переговоры были краткими. Правда, фашисты пытались затеять торг: согласны сложить оружие, но только в том случае, если русские выведут свои войска из рейхстага, мол, им, немцам, как-то не очень хотелось бы проходить через босвые порядки разъяренных советских подразделений. Неустров дернул за рукав Береста и резко произнес: «Дудки!» Берест понял комбата. Он сурово взглянул в глаза немцу-полковнику и басовито отрубил:

— Если не сложите оружие, будете уничтожены. Капитулируете — гарантируем жизнь. И никаких условий. Рейхстаг в наших руках!

Повернулись и зашагали по лестнице наверх.

— Холодом обдало спину, — вспоминал Неустров тот миг. — Казалось, что вот-вот фрицы разрядят свои автома- ты — и прощай жизнь...

Было это в 4 часа утра уже 2 мая. В рейхстаге стояла тишина: фашисты в подземелье рядились, как им быть. Ну, а наши готовились к новому штурму. И только в начале седьмого из подвала вышел немецкий офицер с белым флагом и сообщил, что их генерал — начальник гарнизона войск рейхстага — отдал приказ о сдаче в плен.

Из подземелья группами поползли немцы. Они еле переставляли ноги, понуро, опустив головы, шли к выходу из рейхстага и складывали в общую кучу оружие — автома- ты, пистолеты, пулеметы, гранаты...

Неустров, стоя рядом с Берестом, произнес:

— Поздравляю, товарищ полковник!

— С победой, товарищ капитан! — пробасил Берест.

Сдался рейхстаг, пала резиденция Гитлера — импер- ская канцелярия, капитулировал весь Берлин.

А где же самый главный бандит — Гитлер? Вот воп- рос, который волновал многих. Неужто улизнул? И по- ползли слухи: будто он, переодевшись в дамское платье, пробрался к Бранденбургским воротам, а оттуда на спор- тивном самолете какая-то летчица-фанатичка подняла фюрера ввысь; другие же утверждали, что Гитлер в под- земелье скрывается, только вот в каком — никто не знал: то ли в рейхстаге, то ли в бункере, что под имперской кан- целярией. Словом, всем нужен был Гитлер, чтоб учинить суд и расправиться. И мы, корреспонденты, тоже пусти- лись в поиск: авось наткнемся на фюрера — будет о чем писать!

Были и курьезы, о которых с улыбкой вспоминаю...

— Сюда... Иди скорей, — слышу голос нашего фотокора Гребнева.

Но скорей никак нельзя — в рейхстаге нет света, да и препятствий на каждом шагу уйма: то на поваленный диван натыкаешься, то перевернутый шкаф не дает прохо- да. Но все же кое-как пролезая сквозь завалы и добира- юсь до Гребнева. А он шелкает аппаратом и хохочет. Пе- ред ним солдат с портретом Гитлера в правой руке, а сле- ва — боже мой! — вроде сам фюрер.

— Похож? — спрашивает Гребнев.

Присматриваюсь к немцу: похож — и челка, и усики...

— Это я его взял, — радуется боец. — Говорю ему: «Ты — Гитлер!» А он отнекивается, не признается, гад... Вот я и портрет прихватил, чтоб сравнили... Он!... Не сом- невайтесь... Сейчас к комбату доставлю этого Гитлера...

Да, и такое было. Однако ж настоящий Гитлер никак не попадался на глаза. Но мы, не теряя надежды все-таки обнару- жить его след, отправились в бункер фюрера.

Подземная резиденция Гитлера поразила множеством помещений и благоустройством. На 16-метровой глубине было все — и дорогие ковры, и картины, и сервизы, и стильная мебель, и роскошные кабинеты, и конферен- цзалы, и телефонный узел, и даже отдельная комната для фюрерской овчарки, словом, много разного попадалось на глаза, но Гитлера след простыл.

И все же удача к нам пришла: наткнулись на Геббель- са. Этот момент Гребнев тут же запечатлел на пленку. Читателям журнала предоставляется возможность впервые увидеть эту работу фотокора — снимок еще нигде не пуб- ликовался. У трупа Геббельса наши офицеры ведут до-

прос пленного фашистского адмирала Фосса (крайний справа).

Адмирал — один из приближенных Гитлера — много знал и был словоохотлив. Он сообщил, в частности, что фюрера нет в живых, и рассказал подробнейшим образом о его последних днях. Когда война ворвалась на улицы Берлина, Гитлер вконец скис, обрюзг, голова стала бол- таться, руки дрожали, даже голос изменился — в горле булькало. Правда, эта развалина 29 апреля учинила еще и свадьбу: Гитлер решил уйти из жизни не холостяком, а законным мужем киноактрисы Евы Браун. Окружение фю- рера поразилось причуде своего шефа: русские снаряды рвутся над бункером... и вдруг бракосочетание!

Всего один сутки прошли после свадебного «пиршества», и в имперской подземной канцелярии глухо грохнул выст- рел: Гитлер принял яд, а затем, для верности, послал себе пулю в рот. До этого фюрер самолично накормил отравой овчарку. Приняла ядовитую пилюлю и Ева Браун. Офице- ры-эсэсовцы кинулись в комнату Гитлера и, быстренько уку- тав трупы коврами, поволокли наверх в сад имперской канцелярии. Могилы не надо было копать: кругом ворон- ки — следы нашей артиллерии. Выбрали ту, которая по- глубже, и положили молодоженов — Адольфа и Еву — рядышком. Потом плеснули на них бензин и подожгли. По саду пополз смрадный дым...

Сказанное немцем-адмиралом вскоре подтвердилось. Наши разведчики нашли воронку-могилу, а в ней и остан- ки фюрера. Он основательно обгорел, целой осталась толь- ко челюсть, которая и позволила достоверно установить, что это был Гитлер. Тут же лежал и почерневший скелет его супруги. А поодаль, тоже в воронке, покоилась ов- чарка.

Геббельс последовал примеру фюрера. На рассвете 2 мая он покончил с собой. Его тоже подожгли, но, как видите, не сгорел, только одежду поглотил огонь. Фосс по- казал, что от многочисленной семьи Геббельса никого не осталось. Жуткую историю рассказал адмирал: жена Геб- бельса с помощью врача-эсэсовца умертвила пятерых сво- их малолетних детей. Девчонки кричали, плакали и пыта- лись убежать. Но мать, закрыв комнату на ключ, ловила их и силой подводила к врачу, который втыкал детям шприц с ядом.

Адмирал сообщил деталь: умертвив детей, Магда Геб- бельс вышла в коридор и попросила у охранника сигаре- ту. Затянулась дымом, похлопала его по плечу, посмот- релась в зеркало и, повернувшись, ушла в комнату. Там и сама приняла яд...

Вот так ушли из жизни фашисты-палачи. Одни трави- лись, другие — разбегались кто куда. Сбежал Геринг, скрылся Гиммлер, спрятались Риббентроп. Но всех настиг- ла кара. Возмездие свершилось!

А чем жил в майские дни Берлин? Как он воспринял капитуляцию? Чем заняты были наши войска? Нас, кор- респондентов, все это очень интересовало. И мы с рассве- та до темна были на ногах.

Поражала тишина. Мы отвыкли от нее. Идешь по Бер- лину и кажется, что вот-вот снова начнется пальба, тогда придется падать на асфальт и ползти по-пластунски.

Нет, не надо ползти. Можно идти смело во весь рост. Берлин полощется в белых флагах — капитуляция!

Однако не везде можно пройти. Менают рвы, завалы, рухнувшие дома — следы только что утихших боев. Стоят обгорелые танки, орудия с уткнувшимися в землю ство- лами...

И вдруг видим своих. Подходим. Танкисты оживленно разговаривают с девушками.

— Кто вы? — спрашиваем их.

— Невольницы, — отвечает голубоглазая.

Невольницы? Слово какое страшное. Ну да, это же их угоняли фашисты из Белоруссии, Украины, из-под Смолен- ска, Ржева, Великих Лук... Угоняли в рабство.

— Были невольницами, — поправляет вторая девушка. — Теперь вот на свободе.

Знакомимся. Девушки называют себя: Вера Загура, Надя Сушко, Фрося Григорчук.

Пишу эти строки, а на память приходит совсем недавний разговор с молодым человеком, между прочим, литератором. Он такое сказал, что и повторять не хочется, но осмелюсь. «А может, лучше бы было проиграть войну. Тогда сталинизму пришел бы конец...» Так вот и выпалил. Я, конечно, возмутился, но, успокоившись, рассказал про сожженные города и опустошенные села, про виселицы, которыми фашисты усеяли нашу землю, про Майдапек и Хатынь. Не вспомнил только про невольниц. Увидел бы он, умник, легко отдающий врагу Родину, этих рабынь, услышал бы их рассказы о неволе, о растоптанной юности, об издевательствах и насилиях хозяев-фашистов над ними. За малую оплошность догола раздевали юных девчонок и стегали ремнями, запирали в холодный карцер... Это не я придумал. Вера Загура и Надя Сушко рассказывали.

— Не будем лихое вспоминать,— остановила подруг Фрося Григорчук.— Спасибо за то, что вы пришли в этот проклятый Берлин и освободили нас. Век вас не забудем...

Девушки успокоились и попросили указать, как лучше пройти к рейхстагу, хотят увидеть Знамя Победы, три года не видели наших красных флагов. На прощанье они пожимают руки танкистам, благодарят. Фотокор Гребнев шепкает «лейкой», а я прошу сержанта написать несколько строк для газеты.

— Бумаги не имею,— отвечает.

Подаю свой блокнот.

Сержант пристраивается у танка и пишет: «Я русский, зовут меня Иван. Никогда я так не гордился своим именем, как теперь. «Иван в Берлине!» — здорово звучит. Сержант Иван Великий».

— Годится? — спрашивает.

— Порядок,— отвечаю.— Обязательно напечатаем.

Прощаемся с танкистами и выходим на Александерплац. Здесь дымит наша походная кухня, а к ней со всех углов площади идут люди с тарелками, термосами... Это же немцы? Точно. Подходим и мы вплотную к кухне. Глазам своим не верим: наш повар наливает в немецкие посудины русские щи. Заметив нас, повар крикнул: «Кормлю берлинское население!.. Комдив приказал». Вот оно как! А ведь Геббельс, охочий до словоблудия, обращаясь по радио к берлинцам, страшал, запугивал, говорил, что русские, если войдут в город, всех передавят. Как всегда, врал этот фашист-болтун. Вот что делают русские: не дают немцам умереть с голоду — делятся своим пайком.

И спасают от беды. Фотокор Гребнев запечатлел одну из многих сцен: наш сержант-медик прямо на улице оказывает помощь раненому немцу. До сих пор хранится в моем фронтовом блокноте фамилия этого санинструктора — Кузьмин Н. А. Может, откликнется, если жив и прочитает...

В те майские дни рядом с ликованием соседствовала и скорбь. Мы радовались победной тишине и оплакивали павших товарищей. Из рейхстага, из берлинской подземки, из «дома Гимmlера» — отовсюду, где прошли бои, выносили убитых. Их было очень много. Хоронили в разных точках города. Это потом появится Трептов-парк с монументами Памяти, куда всех павших снесут на вечный покой. Вспоминаю своего коллегу — журналиста Вадима Белова, редактора дивизионной газеты. Прошел всю войну, был в труднейших переплетах, но уцелел. А в Берлине у Моабитской тюрьмы его настиг вражий фауст-патрон — и не стало Вадима. Остался навеки на чужой стороне.

Да, война всем жизнь кромсает. Берлинцам тоже досталось. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на снимки. Горем убиты люди — лишались крова. Одни выволакивают из-под обломков уцелевшие вещи, другие ищут пристанища, третьи спасаются — вдруг что-то взорвется... Все это уловил острый глаз нашего армейского фотокора Владимира Гребнева. Ему хочу отдать должное и сказать, что дело, которое он бесстрашно творил на войне, особенно на ее последнем рубеже — в Берлине, достойно уважения. Это благодаря ему мы имеем возможность сегодня увидеть то, что происходило сорок пять лет тому назад.



Николай
ТЕЛИЧКО

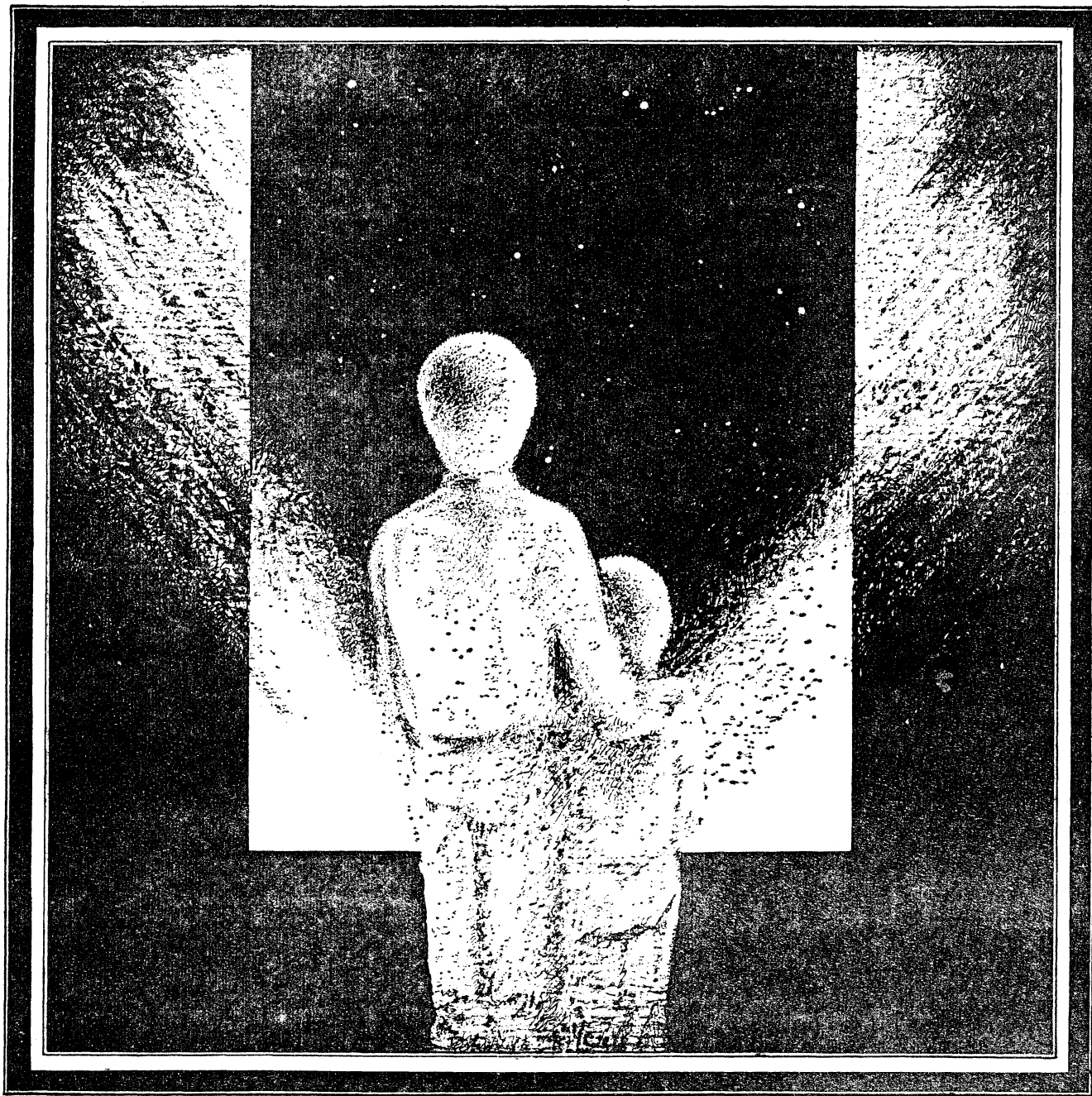
АТАКА

Залив раздвинул берега,
И всколыхнулась гулко суша...
Блиндаж врагов оберегал —
С него накат снесла катюша!
Застлав дымами окоем,
Взрывая в танках бензобаки,
Во всем неистовстве своем
Настал, нагрянул срок атаки!
Сигнал!!!
Рывок — и до кола,
Где из «колючки» — заграждение,
Солдат, как пуля из ствола,
Как свист,—

в прицельном направлении!
Пусть за «колючкою» шагнуть
В разлом земли, в Сиваш по шею,—
Уже, как пулю, не вернуть
Тот штык в исходную траншею.
И лишь окопная тоска,
Озноб, ломота и усталость —
Вот все, что с гильзами осталось
В траншее штатного стрелка.
Удачен будь, солдатский риск!
И за стальной «колючкой» ржавой
Еще не срок — под обелиск
Стрелку, овеванному славой.

ПЕХОТА НА СНЕГУ

— Сооруди укрытие в снегу! —
Как граммофон, уже хрипит комроты.
Озерный лед разбили артылеты,
И наша цепь споткнулась на бегу.
В шершавый снег — шетиною щеки,
Как можно глубже — локти и колени.
И все равно, что темные мишени,
На снежном насте берега — стрелки.
Но, как всегда, и здесь, на берегу,
Стрелковой роты личному составу
Дается право жить, дается право
Соорудить укрытие в снегу.
Как призрак — госпитальная кровать,
Где одеяло теплое — на вате,—
Где каждому, хотя бы в медсанбате,
В бреду на когти смерти наплеватель...
Здесь: увернись от мины и свинца,
Чтоб восхищенно жизнь в глаза смотрела.
Здесь: ожиданье легкого прострела
Не по натуре славного бойца.
Промерзшей пашни борозды тесны,
И потому прошил свинец соседа...
Но близится желанная победа!
Дожить бы только дружно до весны.
Пока ты у Отечества в долгу,
Побереги спружиненное тело!
Солдатская обязанность: умело
Соорудить укрытие в снегу.



ГОРБУНОК

Повесть

Наталья СОЛОМКО
Рис. Евгения Охотникова

Горбунов ходил тогда уже в школу, в первый класс, когда брат, недостижимо старший, обратил на него свое царственное внимание и открыл свое настоящее имя. Была осень, брат вывел его на балкон, показал в еще теплом, прозрачном небе семь раскинувшихся в вышине звезд (а половину неба загораживал старый тополь, и оттуда слетали на балкон прохладные листья, желтые, с зеленым крапом на исподе).

— Видишь: средняя в ручке ковша?

Горбунов кивнул.

— А над ней — выше и левее — видишь?

Выше и левее Горбунов ничего не увидел, но снова кивнул, боясь рассердить брата.

— Мы — оттуда.

— Кто — «мы»? — не понял Горбунов.

— Ты и я.

Горбунов испугался:

— А мама?

Брат качнул головой.

— Мы подкидыши.

Горбунову стало холодно от этой тайны и страшно. Он чувствовал — брат ждет, что он скажет, но молчал. Он не знал, что говорить.

— Только об этом никому, — велел брат. — Зови меня Алькор. Запомни: Алькор. Так называется наша звезда.

— Аль-кор, — повторил Горбунов, запоминая, — Алькор... А можно я пойду погулять?

И Алькор отпустил его.

Горбунов вышел во двор, но там темно и пусто было, всех уже загнали домой. Он огляделся во тьме: песочница, щелястый, с выломанными досками, забор хоккейного корта, старая яблоня... Это, оказывается, была чужая планета, и, поскитавшись в одиночестве по двору, Горбунов с ногами залез на скамейку у подъезда и задрал голову: там сентябрьское небо ломилось от звезд. Он сперва заплутал в этой незнакомой чащобе, но потом отыскал-таки Большую Медведицу (сразу за тополем), смотрел, смотрел — и разглядел свою родину. Она мерцала вдали, едва заметная.

Отца Горбунов не помнил (он был летчик-испытатель и погиб), а мама почему-то всегда была на работе. Поэтому, если его обижали во дворе, он ревел и обещал позвать брата. За это ровесники не любили Горбунова. Но не трогали. Так все малолетство он жил в тени брата и любил эту тень, дарующую спасение.

Брат был большой, семь громадных лет отделяло его от Горбунова. Звали его по-разному, мама Бориской, во дворе Бобом, а в школе он носил незатейливую кличку Горбунок.

Горбунов не звал его никак, для него это единственное, главнокомандующее существо долго оставалось безымянным; просто брат, могущественный ангел-хранитель (которого, впрочем, тоже следовало опасаться: он мог дать щелбана, запереть в темной ванной или, сдвинув редкие рыжие брови, так глянуть со своей высоты, что Горбунов обращался в камень).

Мир в ту пору делился для Горбунова на три чудовищно неравные части. Самая ничтожная из них привычно отражалась в стареньком, с трещиной, трюмо в виде трех лопухих худеньких мальчиков с жидкими темными челками, в любой миг готовых заплакать. Вторую часть составляли остальные люди, в большинстве своем неразличимо чужие, таящие опасность (зачем они, что у них на уме, и с какой целью их так много?). Третья же часть, самая громадная, громаднее всего мира, была брат; великанская его тень лежала на всей земле от горизонта до горизонта и уходила дальше, куда-то туда, за

темные леса, за синие моря, за высокие горы, которые Горбунов, будучи городским ребенком, никогда не видал, однако знал из сказок и телевизора, что они есть...

Оставив же в стороне детское мироощущение Горбунова, не трудно представить, как они жили, два полузаброшенных мамой (она не смирилась с одиночеством и все искала свое счастье) мальчуган в однокомнатной квартире облезлого пятиэтажного дома на окраине большого рабочего города, как питались, в основном, макаронами и картошкой, ходили в неглаженных рубашках с оторванными пуговками, и каждый был сам по себе среди домашнего неуютя. Малолетний Горбунов все время пропадавал во дворе, где хоть и не любили его, но иногда принимали в игру, а брат, в очках, косо съехавшись на кончик носа, валялся на продавленной тахте, уткнувшись в книгу и позабыв обо всем на свете.

В ту осень, когда Горбунов узнал, что они нездешние, с другой планеты, жизнь изменилась: теперь они стали вдвоем, теперь вечерами, забравшись с ногами на подоконник, они подолгу просиживали рядом, глядя в небо, разговаривая о своем доме там, в вышине. Горбунов-то по вполне понятным причинам почти ничего из той жизни не помнил, разве что большую черную собаку...

— Ее звали Пират, она тебя очень любила, — уточнял брат, — никого к тебе не хотела подпускать...

— Она сейчас там?

— Ну, конечно, — отвечал брат. — Наверно, скучает по тебе.

Брату повезло, он многое знал и помнил о той жизни.

— Там все добрые, — рассказывал он, — все любят друг друга.

— Все-все? — удивлялся Горбунов.

— Ага.

— А какие там люди?

— Они смелые и честные, — припоминал брат. — Там так хорошо...

— И как мы потерялись? — вздыхал Горбунов. — Почему мы здесь, вон ведь как далеко... — и близкие слезы подступали к глазам.

— Ой, ну перестань! — морщился брат. — Слезки на колесках! Если хочешь знать, там никто не плачет, там...

Там, там о них помнят, там по ним, потерявшимся, тоскуют и когда-нибудь — о, непременно, не сомневайся! — разыщут!

Наговорившись, навспоминавшись, братья замолкали на подоконнике, сидели, прижавшись друг к другу, а над ними громоздилось небо со всеми своими звездами. Если посмотреть на них долго, становится страшно и холодно душе, но хочется смотреть еще, еще, ни о чем уж не думая, ничего не помня, зная только, что и там, за этой холодной звездной пустыней, с другой ее стороны, сейчас кто-то вот так же глядит, глядит сюда, пытается отыскать чужбину, где они потерялись.

По малолетству и неучености своей Горбунов еще не понимал, что он, тот, кто глядит из-за звезд, далеко, так далеко, что будто и нет его вовсе. И даже если взглядам их, о, только взглядам, и суждено встретиться где-то там, среди звезд, то ох как нескоро: вот Горбунов сейчас ляжет спать, а утром проснется, пойдет в школу, вернется, сделает уроки, побежит гулять, а потом они с Алькором поужинают и опять заберутся на подоконник; и еще один день пройдет, они снова уснут и снова проснутся, наступит новый день, и еще, и еще, а потом наступит зима — снег, санки, Новый год, — но и она кончится, и снег растает; и — неужели это случится! — будет весна, а потом лето, каникулы, Горбунов перейдет во второй класс, потом в третий, в четвертый, вырастет, кончит школу, наверно, женится, и у него родятся дети, потом внуки, потом, когда-нибудь, Горбунов делается совсем старым и умрет, и дети его тоже состарятся и умрут, и внуки, и все-все умрут, и Земля остынет — вот только тогда взгляды их где-то там, на полпути встретятся, может быть...

А вдруг там никого нет?

Ни-ко-го Пусто.

Даже страшная мысль о своей смерти, про которую



Горбунов уже знал, что она будет обязательно (может, у него не будет детей, жены, счастья, может, в жизни Горбунова вообще ничего не будет, может, и жизни-то не будет, а так только — течение времени, тоска и скука, но смерть все равно придет, она будет; раз уж ты родился, то умрешь непременно), даже эта тоскливая мысль не пугала так, как подозрение, что там никого нет.

— Ты такой глупый, — усмехался Алькор. — А откуда тогда мы с тобой? Не бойся, отец нас найдет.

Но Горбунов боялся. А вдруг он просто позабыл о них, ну, женился на другой женщине и теперь ему и так хорошо.

— Там так не бывает, — строго отвечал Алькор. — Там не забывают и не бросают в беде, это здесь так...

А вдруг он умер? Ведь и там всякое бывает.

— Ну и что! — сердился Алькор. — Он жет там не один, там наши, мы вернемся туда, мы обязательно отыщем друг друга. Только такому дураку, как ты, может прийти в голову, что там никого! Посмотри, сколько звезд, для чего они тогда, или ты думаешь, что это все просто так? Мы там живем, во вседушной, это наш дом. Думаешь, почему она бесконечная?

— А она — бесконечная?.. — почему-то похолодел Горбунов.

— А ты как думал!

— У нее нет конца, все звезды-звезды-звезды?..

— Ну.

Горбунов глянул в окно на бесконечную вселенную. Это было непонятно. А за ней что? И откуда взялась?

— Она везде, она была всегда, — сказал брат. — Понимаешь?

Горбунов кивнул, боясь обидеть его своей тупостью. Наверно, он потом поймет. Когда придет время. Ведь Алькор же понимает и говорит об этом спокойно. Наверно, это нестрашно, бесконечная так бесконечная, подумаешь. Он тогда уже все решил, ну, что он обязательно вернется домой. Горбунов станет космонавтом. Вырастет, отыщет свою родину среди звезд, и они с Алькором улетят домой...

Во втором классе Горбунов от корки до корки прочитал учебник по астрономии и даже, поборов лень, начал делать утром зарядку (говорят, в космонавты без этого не берут), но что такое вечность и бесконечность, по-прежнему не понимал он. Нет, не понимал.

— Где она, эта бесконечность? Ну, скажи, Алькор? И что за ней?

— Ничего. Говорю же тебе, она везде.

— Где — везде?

Брат сердился, отвечал непонятно. Горбунов, у которого глаза были на мокром месте, плакал от страха и неясной сбиды. Чего он боялся? На кого обижался? Он не знал, только не давала ему покоя бездна над головой. Откуда она взялась? Кто там? Раньше было просто, раньше было над головой небо, голубое, с облаками, серое, с дождем, черное, со звездами. Было оно близко. Было оно просто так, не требовало внимания: небо само по себе, и Горбунов сам по себе, не так уж часто мы поднимаем голову. А когда ты знаешь, что это не небо вовсе, а вечность и бесконечность, и ты — оттуда, попал как-то сюда, непонятно зачем, то возникает масса вопросов.

Горбунов задавал их всем: соседям, учительнице своей Зое Васильевне, маме, когда она появлялась дома. Но никто не мог ему ответить. Ни про вечность и бесконечность, ни про то, откуда Горбунов взялся и зачем.

— Тебе еще рано это знать! — строго ответила мама.

Остальные взрослые удивлялись, пожимали плечами, сердились, что пристаёт со всякими глупостями. Были и такие, что умилялись, хвалили Горбунова за любознательность. Но все равно не отвечали. Обещали: «Вырастешь — узнаешь». Тайна это была, что ли, которую детям знать не положено? И опять же по малолетству Горбунов не предполагал во взрослых неосведомленности, он, как и положено в его возрасте, думал, что взрослые всегда все знают. Тогда пусть скажут! Горбунов стал совершенно несносен, все пристаёвал и пристаёвал, и нарвался однажды: старенький физик из старших классов честно сознался, что на эти вопросы ответов нет.

— Видишь ли, мальчик, этого никто не знает. Пока. Даже самые великие ученые...

— А потом? — прошелестел Горбунов, собираясь зареветь.

— Не плачь, — вздохнул старик, намерение это угадав. — Все впереди, мы обязательно все узнаем, не сомневайся, — выцветшие, поскуцневшие за долгую и, наверно, не шибко счастливую жизнь, глаза его вдруг заблестели юной надеждой. — Может, именно ты и узнаешь, мальчик...

И пока не кончилась перемена, он торопливо и жадно говорил любознательному второкласснику что-то о человеческой жажде познания, о прогрессе, который неостановим, и еще о чем-то, Горбунову столь же непонятном, но как-то его успокоившем.

О том, что за страсть к познанию он в свое время отсидел семнадцать лет, старик, разумеется, говорить не стал.

«Вот вырасту и во всем тут разберусь», — решил Горбунов.

Он долго не догадывался, что Алькор не видит их звезду. В древнем Египте воины проверяли по ней зрение, а когда Горбунов тайком померил очки брата, мир расплылся, распозлся, глазам стало больно, будто их потянули под лоб суровой ниткой, потом долго ныли виски. В детстве брату спали в глаз железной пулькой, ну, на уроке баловались, и уж это не глаз стал, а так, одно название. Вслед за левым стал слепнуть и правый, и ночное небо давно было для него пустынной тьмой. Это для Горбунова оно становилось по-домашнему ярным со всеми звездными окрестностями и закоулками: нашелся в школьной библиотеке старый, изрядно изодранный звездный атлас. Пах он пылью и мышами и выглядел, как вещь позабытая, никому не нужная, и все-таки был это тайный знак Горбунову, дружественный намек на то, что они с братом не одни тут: ведь кто-то листал эти желтые, растрепанные по краям страницы с «керами» и «ятами», искал дорогу к дому.

Не сразу научился он отыскивать в ночной путанице неба созвездия, и дорога от Большой Медведицы до Малой казалась неблизкой и опасной, ведь звездную тьму там сторожил Дракон, караулил, чтоб не шлялись чужаки. Ну, как не признает Горбунова? Пожив на этой планете, он и от неба ожидал унижений и каверз, но мирозданье, хоть и обдавало царственным холодом, не обижало, открывалось темными далями, где догоняли и не могли догнать Большую Медведицу бедолаги Гончие Псы, где рядом с Волспасом притаилась огромная Змея (но звезда Артур, как светящийся, горела красным светом, предупреждала странников об опасности), где брел по Млечному пути Персей и, чтоб разогнать мрак, нес пред собой звезду Алгсль, и она то разгоралась, то гасла, будто свеча на сквозняке Горбунов смотрел, смотрел, привыкая. Сперва с опаской, боясь заблудиться, не отходя далеко от дома, но это прошло. Все там было знакомо Горбунову, все свое. Каждую ночь созвездия медленно, важно аставали над горизонтом, проплывали над полноточником Горбуновым, как облака. Как жалко, что брат не видит, как обидно... А брат не грустил, запоем читал книги, чудесные книги с драными рассыпающимися страницами — Жюль Верн, Сабатини, Стивенсон, Грин, — а потом рассказывал Горбунову об океанах и штормах, о «ревуших сороковых» широтах. И о зыбких огнях святого Эльма, пророчащих гибель, и о том, как посвистывает в снастях свежий ветер, рассказывал он, и о том, как грохает на рассвете о каменный берег мерный прибор. А какие чарующие, непонятные слова знал он... Бом-брамсель. Крюйт-камера. Фор-марсель. Все с черточкой посерединке — для престола, в котором явственно всплескивала волна и прощально кричала чайки.

В большом заводском городе, где они жили, никакого моря не было, но и вычитанное из старых книг, оно было таинственно и прекрасно, звало брата к себе, может быть,

даже пуще, чем настоящее. Неоткрытыми — неправда, что их уже нет, что-нибудь все равно да и осталось — землями, грозным простором, в котором играют — если что, они обязательно спасут — дельфины, и уж конечно парусами, влажно хлопающими на ветру... В общем, после десятого слепой мечтатель собирался в мореходку.

— Боря, ты спятил! — рассердилась мама, узнав про эти бредни. — Слезь с небес и разуй глаза.

Алькор сидел, уткнувшись в книгу, делал вид, что ничего не слышит. Когда мама приходила домой, он становился угрюм и упрямым, глядел мимо. А Горбунов ей радовался, ластился. Хоть он давно знал, что на самом деле они не родные дети, а подкидыши, он все равно маму любил, скучал, когда ее долго не было.

— Какая еще мореходка, тебя даже в стройбат не берут с твоим зрением! И учишься едва-едва, лентяй бессовестный. Все книжки свои читаешь. Чтоб они сгорели, эти книжки, сколько раз я тебе говорила: перестань! Ведь совсем ослепнешь... Иди в пединститут, бездельник, и не выдумывай глупостей. Там, говорят, мальчиков и с трючками берут...

Алькор вскочил с пятнами на щеках, закричал на маму злым, срывающимся голосом:

— Не твое дело, отстань от меня! Иди к своему Толику и его учи, как жить!

Мама заплакала, Алькор тоже, и все бормотал, что не пойдет он ни в какой пединститут, он отлично все видит, он выучит наизусть таблицу, по которой проверяют зрение, он поедет в Одессу к знаменитому врачу, и ему сделают там операцию. Он поступит, поступит, поступит в мореходку!

Это зимой было, а летом, кое-как сдав экзамены в школе, он отнес документы в пединститут, на географический факультет, и провалился на географии.

Горбунов заплакал от такого горя, а брат только пожал плечами:

— Ну и подумаешь. Даже лучше, год поработаю в школе, вожатым, опыта наберусь.

Забывшая домой мама эти намерения не одобрила.

— Что ты там заработаешь, вон учеником продавца пошел бы.

Но Алькор был непоколебим: только в школу.

Зачем он решил стать учителем? У него изменился голос, построжал, поскуцнел, ни смешинки в нем не осталось, ни хмурой ласковости, и глаза сделались чужие за стеклами, все время что-то бдящие.

— Ты уроки сделал?

— Не-а.

— Немедленно садись, сколько можно говорить одно и то же. Не понимаю, чего ты добиваешься!

— А я погуляю и сделаю.

— Никаких гуляний, ты тройку получил. Учи уроки, лентяй!

Вот примерно так они теперь разговаривали.

Брат наставлял, заставлял, прорабатывал, а Горбунов молчал в тоске. Но хуже всего было, когда Алькор садился с ним за уроки и пытался объяснить то, что Горбунов не понимал. Непонятное от этого делалось еще непонятнее, брат смурнел, начинал свои объяснения сначала, а Горбунов, испуганный его раздражением, не понимал, не понимал, погибал от сознания собственной тупости, каменел от ужаса перед школьной наукой...

— Ну, понял теперь?

Горбунов молчал в отчаянии.

— Отвечай! — взрывался Алькор. Он обзывал Горбунова придурком, тупоумным, кричал, что он нарочно не понимает, назло.

Горбунов начинал хлопать носом, но это не смиряло брата. И вот, хоть и был Алькор с дальней звезды, где все добрые, в такие минуты ничем он не отличался от здешних учителей.

Четвероклассник Горбунов учителей не любил и боялся: это были люди карающие и чинящие расправу. Еще

малышом будучи, Горбунов уяснил для себя, что тетеньки на этой планете добрее дяденек, и, если что, искал у них защиты. Но эти тетеньки из школы были совсем другие. Безжалостные, с громкими голосами, они кричали, приказывали, наказывали, будто были не тетеньками, а только притворялись. Или заколдовывали их школьные стены?

Вот и брат стал таким.

Однажды, захлебываясь от слез, Горбунов крикнул ему:

— Не хочу, чтоб ты был учителем, не надо! Ты стал злой...

Алькор взглянул ледяными суровыми глазами:

— Ты глупый, ничего в этом не понимаешь.

— Не хочу, не хочу, не хочу!.. — твердил Горбунов.

— Учителя существуют для того, чтоб воспитывать из вас настоящих людей. Добрых, смелых, честных. Но вы не хотите быть такими. И за это вас наказывают — для вашей же пользы, чтоб вы исправились. Ясно тебе? Учителя не злые, а строгие, они тебе добра хотят.

Горбунов молчал, но тебе не согласен.

— Гляди мне в глаза, — скомандовал брат, заметив эту молчаливую дерзость. — Живо! И отвечай: должны вы быть добрыми, смелыми, честными?

— Должны, — прошептал Горбунов.

— А если вы не хотите, то что делать? Вот с тобой, например! Если ты все назло делаешь?

— Я не назло.

— Не ври.

— Честное слово.

— Не спорь, я лучше знаю. Вот гляди, какой ты, вместо того, чтоб честно сознаться, выкручиваешься...

И Алькор наказал Горбунова: не отпустил гулять, велел сидеть дома и думать над своим зловредным поведением, а сам ушел. Сказал, что в кино.

Горбунов знал, что в кино он не пойдет: у них денег не было. Скорее всего он спрячется и будет караулить, не выйдет ли Горбунов самолично во двор.

Горбунов залез на подоконник, обнял колени. На улице было пасмурно, холодно. Алькор затаился в облетевшем кусте сирени и наблюдал за подъездом. И так жалко его было почему-то, так хотелось побежать к нему, сказать: «Пойдем домой, Алькор!» Горбунов выскочил, не одеваясь, схватил брата за руку... Они помирились, а ночью Горбунов долго не мог уснуть, все думал о том, что сказал ему брат. Наверно, он был прав, просто Горбунов не понимал этого. Ведь это там, дома, все люди добрые, смелые, честные — сами собой. А здесь-то, наверно, все наоборот, здесь, наверно, они рождаются злыми, трусливыми, бесчестными. Вот поэтому тут и есть учителя, чтоб хоть как-то местных жителей переделать. Никак тут без них нельзя, и вовсе они не злые, а только кажутся такими. Может, даже нарочно притворяются — для пользы дела. Дома-то, со своими детьми, они ведь не такие. Это они только на работе, вот в чем дело, догадался Горбунов, и на душе у него стало легче. Значит, просто здесь так положено, чтоб учитель дома был добрым, а в школе все время кричал и наказывал, без этого здесь не обойтись...

«Скорей бы вырасти, — думал Горбунов, засыпая. — И улететь».

Меж тем на дворе стоял октябрь, и уж давно пора было Алькору устроиться на работу.

Он сходил в ближние школы, потом в дальние, но, оказывается, вожатых набрали еще в августе.

Денег давно не было, они подъели все, что было в доме, и последнюю неделю пекли лепешки, счастливо отыскав в кладовке несколько пакетов муки. Что-то надо было делать. Мама сказала, чтоб он устраивался куда угодно, немедленно. Но он хотел работать в школе, помыкался-помыкался, сходил в райком да в начале ноября и уехал в деревню. Там его взяли, обрадовались, что мужчина

А мама заплакала, узнав.

— Какой негодяй, все тишком, и не попрощался...

Горбунов успокаивал ее:

— Ну, мам, ну, чего ты, он так мечтал, а тут его не брали.

— А о тебе он подумал? Бросил тут одного...

— Ну, мам, мы все очень хорошо придумали. Он там устроится и сразу заберет меня к себе. Да проживу неделю один, подумаешь! Ну, правда, мам...

Но неделя прошла, прошла и другая, Алькор написал Горбунову письмо, как там у него хорошо, в деревне, какая школа маленькая, деревянная, со скрипучим крыльцом, а кругом все лес, лес, лес до горизонта, тебе понравится, вот увидишь, только потерпи еще немного, мне пока не дали комнату, главное, не запускай учебу. Да, еще не забывай выносить мусор, а то знаю я тебя... И помни, написал он в самом конце, что человек должен быть добрым, смелым, честным, а иначе — зачем он?

Вечером, закутавшись в одеяло (уже холода наступили, а окна-то у них были не заклеены), привычно при moistившись на подоконнике, Горбунов перечитывал письмо брата и думал над ним.

Сколько помнил себя Горбунов, столько твердили ему, что надо быть добрым, смелым, честным... Ну, как там, дома. И потому детским своим умом он давно уж додумался, что хоть было их с братом происхождение тайной, о которой никому нельзя говорить, однако, знали, знали на этой планете о далекой их родине и даже, как выяснилось, пытались брать пример. Поначалу это обстоятельство радовало Горбунова, все тут было просто и ясно. Казалось бы. Если не приглядываться, не задумываться... А вот если вечером, в пустой квартире, залезть на подоконник и все думать, думать, то, честно говоря, многое, очень многое представлялось странным, почти загадочным.

Разумеется, Горбунов не мог знать все про местную жизнь, информация, которой он располагал, в сущности, ничтожной была, но и она давала повод для подозрения, что что-то тут неладно...

Начать с того, к примеру, что все взрослые на этой планете были, как уже отмечалось, просто помешаны на том, что человек должен быть добрым, смелым, честным, и много и охотно говорили об этом с детьми. Что ж, Горбунову это нравилось (во-первых, потому, что это было правильно, ну, а во-вторых, это некоторым образом рассеивало сомнения, что в вышине пусто, доказывало существование родины и некую таинственную связь ее с остальным миром), но, чем старше становился Горбунов, тем заметнее ему было, что требования эти распространяются только на детей. А сами взрослые живут по каким-то другим законам. Видимо, сугубо местным. Быть добрыми, смелыми, честными взрослым на этой планете вовсе не обязательно.

Горбунов сидел на подоконнике и думал, думал об этом, долго, много вечеров подряд, и опять не понимал...

Брат говорил ему когда-то, что все непонятное можно понять, надо только много думать. Ну, и книжки читать, конечно, в книжках много сказано. Читать и думать, и тогда обязательно в конце концов додумаешься.

Горбунов верил брату, он прочитал учебник под названием «Педагогика» (Алькор с ним не расставался до самого отъезда) и ничего там не понял. Но все равно сидел и думал. И вот все так и вышло, как обещал брат: в один из вечеров он вдруг догадался, в чем тут дело: это игра. Ну да, такая сложная местная игра под названием педагогика.

«Ну и дурак же я!» — понял Горбунов. Здешние-то дети отлично понимали, что это все понарошку, только чуток Горбунов должен был долго и старательно думать, чтоб за видимостью обнаружить сущность, сообразить, что происходит на самом деле: тебе понарошку говорят «будь добрым», и все, что от тебя требуется — понарошку согласиться, ну, притвориться то есть. А быть вовсе и не обязательно.

Горбунов испугался своего открытия, уговаривал себя, что быть такого не может, но все, что ни вспомни о жиз-

ни, убеждало в том, что открытие его правильно: быть не надо, надо только согласиться, только кивнуть головой — и тогда тебя оставят в покое. Главное — не спорь, не задавай глупого вопроса: а как? Взрослые этого не любят. Соглашайся, не спорь — и будь каким хочешь...

Интересная, наверно, игра, только непонятная. Для чего она? Какова ее цель? Кто в ней выигрывает? Сколько ни ломал Горбунов голову, а не пробился на сей раз, сообразил только, что играть в эту игру должны все, и упаси бог нарушить правила и попытаться не притворяться, а быть добрым, смелым, честным. Ох и достанется же!

Вот, например, добрый Горбунов подобрал на улице бездомного щенка, накормил, назвал Рэксом и оставил жить у себя, а когда мама позвонила, он, нездешний дурак, честно сказал ей об этом.

— Немедленно, ты слышишь, Гелик, что я тебе говорю, выброси его, он же наверняка блохастый!

Ну и что из этого вышло? Горбунов долго ревел в пустой квартире, просил у Рэкса прощения за то, что его надо выбросить, да так и не отважился (со смелостью-то, надо признаться, у него было совсем плохо), ведь зима же начинается, Рэкс маленький, тощий, он там замерзнет насмерть...

И пришлось Горбунову стать нечестным (маме он сказал, что Рэкса выбросил), и был он таким целую неделю, пока не вернулся однажды из школы и не обнаружил, что в квартире прибрано, а Рэкс как сквозь землю провалился.

Горбунов бродил по дворам, звал его, звал, а через несколько дней нашел его на помойке, мертвого. Кто-то убил его. Какие-то хорошие люди.

Горбунов схоронил Рэкса в сугробе, а от мамы ему попало за то, что врал.

А сама так обманывала Горбунова.

Горбунов:

— Мама, ты придешь сегодня? Ты обещала...

Мама:

— Ну что ты как маленький, у меня дежурство, ты ж знаешь...

Так по телефону они беседовали, голос у мамы был сердитый и виноватый, и Горбунов понимал, что никакое у нее не дежурство, а просто она любит шофера дядю Толика и скрывает от него, что у нее есть дети. Домой мама бежит тайком от Толика, а к Толику — тайком от Горбунова. А когда появляется дома, плачет, обнимает Горбунова и шепчет ему в ухо горячо и щекотно: «Я одна, одна, ты не понимаешь, как это тяжело...» Но Горбунов как раз понимал, он ведь тоже был один.

Он один и мама одна, а как бы хорошо им было вместе. Но почему-то это было невозможно. Почему?

В общем, было, было о чем подумать пришельцу Горбунову. Вот и сидел он на подоконнике, тосковал по дому, думал и никак не мог решить, как ему жить здесь: на самом деле, как живут там, или понарошку, как здесь положено.

Ведь это ж тайна, думал Горбунов, никто ж не должен знать, что я не отсюда, может, вообще мы не потерялись, а разведчики, может, потом нас позовут и дадут задание! Значит, самое главное сейчас — не рассекречиваться: быть как все, и уж конечно, ни в коем случае не нарушать ихние законы, чтоб местные жители ничего не заподозрили... В конце концов, если даже мама обманывает, то, может, так и надо? А если вправду все должны быть добрыми, смелыми и так далее, то кто сказал, что начаться должно с Горбунова? Вот надоест когда-нибудь аборигенам их странная игра, где все время надо врать, говорить одно, а делать другое; и однажды вдруг замрут они от стыда и отчаяния и подумают: боже, как мы живем, почему, что с нами творится, ведь давным-давно знаем мы, какими мы должны быть, хватит притворяться людьми, ведь стыдно, ведь нельзя же так, пора нам быть, пора нам стать... И станут. Добрыми. Смелыми. Честными. На самом деле. И такая жизнь начнется

прекрасная — как дома. Вот тогда и Горбунову можно будет не скрываться, ведь верно?

Так сидел четвероклассник Горбунов, глядел в небо, где о нем помнили, где по нему тосковали, и замышлял первое в жизни предательство.

Он уже давно жил один, так давно, что привык.

Привык к пустой, неприбранной квартире, к тоске по брату, к одиноким вечерам на подоконнике (он торчал там допоздна, оттягивая сколько можно страшный миг, когда надо ложиться спать, но он все равно наступал, этот миг). Пустынная ночь вставала за окном, приникала к стеклам, заглядывала, пугала недоброй тьмой; и Горбунов включал по всей квартире свет, озирался, вздрагивая, слушал тишину, лез с головой под одеяло, а мама потом удивлялась, что со счетчиком, сломался, что ли, не может же нагорать так много.

Горбунов удивлялся вместе с ней, пожимал плечами, обещал вызвать электрика, он врал теперь легко и убежденно, и совесть не мучила — так надо, так положено. Ну ее, эту правду, ничего от нее, кроме неприятностей.

— Как ты там, Гелик? — звонила вечером мама.

— Хорошо, — легко отвечал Горбунов, да и что бы изменилось, скажи он правду?

— Что ты ел?

— Колбасу и котлеты.

А ел он вареную картошку, в основном, с ней просто было, без возни, а деньги, которые давала мама, спускал на конфеты.

— От Бориски ничего нет? Я так беспокоюсь, и когда он тебя заберет?

Горбунов уже понимал, что брат не заберет его никогда: ему там разонравилось, дети не слушались его и издевались, а он их ненавидел и боялся, и слушал по горло, по дому. Такое письмо получил Горбунов в начале декабря, но маме не сказал. Зачем?

— Скоро, мам. Вот только четверть доучусь, и забрет. Кто ж в конце четверти переходит...

— Вообще-то правильно, — одобряла мама. — Я так рада, что он там прижился, такой ведь он безалаберный... — но другие заботы отвлекали ее, голос строжал: — Гелик, ты телевизор выключать не забываешь, соизяйся?

— Не, мама, я всегда выключаю.

Телевизор сломался еще при Алькоре, брат все собирался сдать его в починку, но денег не было, так и уехал, не собравшись.

— Ну, спокойной ночи, Геленька, целую тебя, — прощались мама.

— Спокойной ночи, мама, — как положено, отвечал Горбунов и оставался один-одинешенек.

А ровесники, дурачки, завидовали: вот же повезло Горбунку, живет, как хочет, все ему можно, и никто не ругает!

Они иногда приходили к нему — поиграть в жмурки, запустить дымовушку прямо на кухне, побаловаться от души. Но потом-то, отведя душу, они расходились по своим подневольным домам, к ушину, к телевизору, к придирам и ласкам своих взрослых, к прирученной, обжитой тьме, в которой бабушка похрапывает и так сладко спится всем вместе, а Горбунов разгонял счетчик, забивался в холодную постель, караулил неясные шорохи, скрип половиц и боялся, боялся... Он и сам не знал, чего.

А зима заносила город большими лютыми снегами, метели хозяйничали на улицах — такая она, зима эта, пришла и встала, безжалостная, что не отогреться.

И вдруг Горбунову повезло

Из-за холодов взрослые дворовые парни, те, что именовались «трудными подростками» и обычно собирались за гаражами, перекочевали в подвезд, и именно в тот, где жил Горбунов. Жильцам это, можно догадаться, не понравилось (дымно, шумно, окурки на полу), и каждый вечер вспыхивал на лестничной площадке громкий скандал:

— А ну, идите отсюда, раздолбаи, а то милицию вызовем!

— А чо мы делаем?

— Вот и нечего тут околачиваться! Встали тут, паразиты!

— А где нам стоять!

— Где хотите, там и стойте, а тут нечего!

— Дяденька, тебе чего, больше всех надо? Мешаем мы тебе?

— Мешаете!

— А зубы тебе, мужик, не мешают?

— Ты пугать еще меня будешь, сопля зеленая, да я тебе...

— Чо ты там сказал, козел штопаный!..

И так каждый божий день, а Горбунов слушал, притаившись у себя за дверью, да в один из вьюжных вечеров, замирая от собственной дерзости, и пригласил «трудных» в гости.

Это была самая счастливая пора в той одинокой его детской зиме: ненавистная пустыня квартиры ожила, в ней появились другие люди, и тепло стало от человеческих голосов, и совсем не страшно.

Иногда с парнями приходили девицы. Ну, скажем прямо, на светский прием это было мало похоже: парни пили вино, играли в карты, тискали девиц, и тисканьем дело не всегда ограничивалось (так на десятом году жизни Горбунов во всех подробностях узнал, откуда берутся дети), но за простыми своими забавами гости Горбунова как-то умудрялись не забыть о хозяине, подкормить, приласкать, а то и — если были девчонки — починить продранные в школе брюки, простирнуть рубашку. Главное же, они не прогоняли его от себя, принимали в компанию, разговаривали с ним, и от этого жить стало легче, нежнее, и даже стал Горбунов забывать потихоньку, что он чужестранец, может быть, даже разведчик. Он научил «трудных» отыскивать Полярную звезду, показывал созвездия в ледяном, ясном небе и называл их по именам. Парни слушали серьезно и с изумлением.

— А вон это кто, Горбунок?

— Где?

— Ну, вон, вон горит, видишь?

— Капелла из созвездия Возничего. Капелла — это значит коза, Возничий несет ее на плече...

— Где, где это?

— А вон Орион, ну вон, рядом с Зайцем. Самые яркие звезды видите, одна белая, другая красная?

— Гля, парни, и правда одна красная...

— Это Ригель и Бетельгейзе.

— Ригель... — повторяли они зачарованно. — Бетельгейзе... И откуда ты, Горбунок, все это знаешь...

Горбунову так хотелось все рассказать им, сознаться, что он оттуда, он чужак. А они бы сказали, рассмеявшись: «Брось гравить, Горбунок. Что мы своего от чужого не отличим!»

Но он помнил наказ брата и молчал, молчал о родине своей, там, в вышине.

Алькор вернулся после Нового года — вырвался на три дня погостить да так и остался навсегда (бог с ними, с вещами, с трудовой книжкой, подумавшей, два месяца). О поступлении в педагогический институт было забыто навсегда, и он устроился на почту, разносить телеграммы. Больше его никуда не брали из-за плохого зрения.

Горбунов был счастлив, ходил хвостом за братом, а когда выпадала Алькору вечерняя смена (днем-то Горбунов был в школе), вместе с ним носил телеграммы.

Так хорошо было шагать рядом с братом, и совсем не холодно, и темень не пугала, освещенная редкими фонарями, под которыми бесприютно мотался мелкий колючий снег, а вокруг дома, дома стояли и светили теплыми разноцветными окнами.

В домах, за окнами, жили люди, и кто-то все время слал им телеграммы.

Выезжаю 23-го поезд 16 вагон 2 встретить обязательно много вещей нина

Ты мне снишься юра

Батя умер двадцатого похороны 23-го приезжайте алексей заверено овсянникова

Люблю целую жду твой Олег

Триста телеграфом подробности дома володя

Вера отлучалась вчера схоронили клавя

Ну и дерьмо же ты коля тчк наталья

Сессию завалил забирают армию мамочка не волнуйся все будет хорошо алеша

Разносятся эти бумажки, намекавшие на то, что планета, куда они попали, велика, и разумная жизнь на ней просто кишмя кишит, Горбунов снова почувствовал себя чужестранцем: за каждой дверью шла жизнь, чужая, манящая, идущая мимо, едва замечающая их с братом. Горбунов глядел на нее во все глаза, запоминая (и завидуя, завидуя, что, конечно же, его, как разведчика, не украшало).

Они входили в незнакомый подъезд, искали квартиру, звонили, и Горбунов замирал, затаив дыхание: что там, за дверью?

Оттуда спрашивали:

— Кто там?

— Телеграмма, — отзывался Алькор.

И дверь открывалась, будто это был пароль. Она открывалась — и сперва налетал запах чужой жизни: веселый запах борща или зеленый, праздничный — одеколона «Шипр»... Чем только ни пахла жизнь — кошками, собаками, натертым паркетом; а то вдруг пыльно и желанно пахло книгами, и тогда в глазах у брата появлялось что-то жалобное, собачье (дома-то он давным-давно все прочитал). И пока человек, открывший дверь, торопливо расписывался в квитанции и вскрывал телеграмму, уже позабыв о пришельцах, не обращая на них внимания, можно было во все глаза глядеть ему за спину, туда, где он живет.

О, много, много замечал Горбунов в эти коротенькие мгновенья, запоминал, уносил с собой, чтобы ночью, перед тем, как заснуть, все припомнить: полосатый коврик в коридоре, такой домашний, что хотелось немедленно сесть валенки и пройти по нему босиком; таинственный синий сумрак дальней комнаты и там, уже за гранью видимости, — бой гитары и юный упорный голос: «Но парус, порвали парус! Каюсь, каюсь, каюсь...» И совсем уже подарок — разыгравшийся, стремглав вылетевший из кухни серенький кошачок (увидав посторонних, он тормознул, выгнул спину и, сделав вид, что ужасно напуган, взлетел вверх по шторе), а следом выбежала маленькая девочка с огромным зеленым бантом на макушке и захотала, захлопала в ладоши... Горбунов, стоявший за порогом, тоже засмеялся, и потом, когда дверь закрылась и они ушли, долго еще вспоминал и этого веселого котенка, и девочку-хохотушку.

Вручив телеграмму, они сбегали вниз по лесенке, выходили на темную, морозную улицу, дверь подъезда тяжело и прощально бухала у них за спиной, отсекая их от только что увиденной жизни, они спешили в другие дома на других улицах, там тоже жил кто-то.

И везде Горбунову приторно хотелось, побыть еще чуть-чуть (а может, и остаться навсегда?), но они шли дальше раздавать телеграммы. А потом возвращались на почту.

Для всех остальных почта в это позднее время была закрыта уже, но они-то были «свои», запросто заходили со двора и, миновав темный коридор, попадали в казенные свет и тепло. Там вкусно пахло сургучом, и электрический чайник, пожарниками объявленный вне закона, контрабандой кипел в надежной тени упаковочного стола, а в соседней комнате вдруг начинался шум, треск, стук — это приключалась истерика со стареньким телеграфным аппаратом, он принимался торопливо и яростно выстукивать буквы, из которых складывались сообщения о поездах, самолетах, любви, смерти, свадьбах, одиночест-

вах, печалях и прочих разнообразных перипетиях местной жизни. Пока же не наступал он новых депеш, Алькор и девочки-телеграммщицы гоняли чай, травили анекдоты, предварительно выставив Горбунова в соседнюю комнату (тебе еще рано такое слушать); совершенно, кстати, напрасно: потому, во-первых, что ему и там все было хорошо слышно, а во-вторых, что уж такого принципиально нового могли сообщить ему девочки, учитывая его дружбу с «трудными», в таких случаях куда его не выставлявших.

Горбунов любил эти почтовые вечера, уютные, почти домашние, и ревом ревел, когда брат решил с работы уволиться (он боялся носить телеграммы о смерти).

— Я сам буду их носить,— пообещал он, и Алькор, вздохнув, остался.

Горбунов часто подменял его по вечерам: брат в ту зиму все время бегал в театр. Он там влюбился в одну артистку, и, конечно, разговора быть не могло о том, чтоб пропустить спектакль с ее участием. Ну, а Горбунову работа была не в тягость. К тому же он тоже был влюблен и, разнеся телеграммы, вприпрыжку мчался на почту, к Люсе.

Ей было лет семнадцать, она работала телеграфисткой. Если на почте никого не было, они болтали. Горбунов рассказывал ей о своих будущих полетах в космос (то есть о самом-то главном, о возвращении домой, молчал, делал вид, что он просто местный мальчик-малыш, среди местных малолеток профессия космонавта пользовалась большой популярностью), а она Горбунову — о девочках из общежития, которые смеялись над ней и дразнили уродиной.

— Они говорят, что меня никто никогда не полюбит, потому что у меня нос длинный...

Горбунову хотелось сознаться: я тебя люблю! Вот вырасту — и мы с тобой улетим, убежим отсюда, а там, дома, никто никогда — ты слышишь! — не обидит, потому что там... Ах, там все по-другому, поверь, там, там... Там все люди добрые, вот увидишь... Но он молчал, подчиняясь местным законам: ведь Люся была взрослая, а он только мальчик, в его возрасте, считалось тут, никакой любви быть не может (а если она все-таки есть, то это стыдно и смешно, надо скрывать). И, откладывая любовь на потом — ведь вырастет же он когда-нибудь! — Горбунов только хмурил редкие темные брови, сопел, бурчал простуженно:

— Дуры они, твои девочки, самих их никто не полюбит! Кому злы такие нужны...

— Много ты понимаешь,— вздыхала Люся.— Что злая — не видать, а что некрасивая — сразу заметно.

Она грустно шмыгала длинным своим носом, который Горбунову очень нравился, как, впрочем, и все в ней: бледненькое, даже зимой все в конопущках, лицо с зеленатыми, чем-то раз и навсегда напуганными глазами, легкие, худенькие руки в ауре золотистого пушка, и так славно было сидеть с ней рядом, пить чай и знать о будущем счастье.

Однажды Горбунов позвал Люсю в гости есть макароны — до зарплаты оставалось три дня, а она не дотянула и ходила голодная.

— Ой, что ты... — перепугалась Люся.— Боря рассердится.

Горбунов обиделся за брата.

— Ты что думаешь, он жмот?!

— Что ты, Гелька, Боря хороший,— вздохнула она.— Просто я его боюсь.

— Не бойся,— велел Горбунов.— Его все равно дома не будет, он в театре сегодня,— и для пущей важности разъяснил, что брат не просто так в театре, а потому что у него там любовь с одной артисткой.— Только это тайна, поняла?

Люся поняла и пообещала, что никому, никогда, ни за что на свете.

Горбунов, разумеется, не стал сообщать подробности (вернувшись за полночь, Алькор будил его и бормотал в

восторженной лихорадке про то, какая Она была сегодня, кого играла, как играла, а больше все про голос Ее: зарплата-то у него была шестьдесят рублей, и билеты, можно понять, он покупал самые дешевые, сидел где-нибудь в последнем ряду амфитеатра или на балконе и слепо — минус одиннадцать — взирал оттуда на свое бо-жество).

— Ой, а она его тоже любит? — конечно же, спросила Люся.

— А ты как думала! — отвечал Горбунов, охраняя честь брата.

— Ясное дело, любит... — сказала Люся. И вздохнула. И согласилась идти есть макароны.

Она сразу принялась наводить в квартире порядок, а Горбунов варил макароны и врал вдохновенно, какая у брата с той артисткой любовь шикарная. Ну, Люся его все распрашивала об этом, он и врал, раз ей так хочется, он от «трудных» подростков много чего знал про взрослую любовь.

Люся слушала, не дыша, позабыв про веник.

И вдруг — брат вернулся.. Что-то там произошло, в театре, спектакль заменили, и его артистка не играла сегодня.

Увидев гостью, он потерялся, смутился: он и на работе старался забрать телеграммы и поскорей уйти, у него никогда не было девушки, он не знал, что делать, как разговаривать.

— Ой, я пойду,— поспешно сказала Люся.— А Гелик сказал, тебя не будет...

— Я мешаю? — угрожаю спросил брат.

— Обалдела,— обиделся на Люсю Горбунов,— сейчас уже макароны сварятся!

Алькор кинулся к соседям, занял пятерку до зарплаты, сбегал в магазин, где куплены были бутылка вина и торт, и такой вдруг ласковый, счастливый вечер случился, в неприютной этой квартире потеплело, посветлело, стало как дома. Они сидели втроем, торопливо, взахлеб говорили, говорили про все на свете, будто давным-давно знакомы были, может быть, даже любили друг друга, но злая судьба взяла и разлучила на долгие годы, и как тосковали, как ждали они этой встречи — и вот сбылось!

А время-то не дремало, зловерное (как нудно и страшно тянулось оно, когда Горбунов жил один, топталось на месте, а то и вовсе замирало, скучная вечность громоздилась между «тик» и «так»), а тут вдруг рванулось, припустило, помчалось: и мига не прошло, а уж ночь наступила, и, глянув на проклятые часы, Люся зашепила (в общежитие пускали до двенадцати), засоби-ралась, и все померкло оттого, что она уходит.

— Ну куда ты,— заныл Горбунов,— зачем тебе, ночуй у нас...

— Ой, что ты, Гелька!

— А чего, в самом деле,— сказал Алькор,— места хватит.

Он уступил Люсе свою тахту, а сам лег с Горбуновым.

— Она хорошая, правда? — шепотом спросил Горбунов в бессонной тьме.

— Да.

— А она тебе понравилась?

— Да.

— Я ее, знаешь, как люблю...

— Спи давай, а то опять тебя завтра не поднять.

— Я на ней женюсь, когда вырасту, ладно?

— Ладно. Спи.

Горбунов уснул, а ночью его разбудил их шепот.

— Я люблю тебя... Люб-лю те-бя...

— Правда?

— Угу.

— Больше артистки?

— В сто раз.

— А ты будешь к ней еще бегать?

— Нет.

— Это ты сейчас так говоришь.

— Не сейчас, а правда.

— Будешь, будешь!

— Нужна она мне!

Они еще долго там шептались и целовались, а Горбунов лежал и плакал. Тихо, чтоб они не услышали.

Люся стала бывать у них часто, каждый день, и нечестно оставалась. Она навела в квартире порядок, с макаронами и картошкой было покончено, но ни суп, ни котлеты не утешили Горбунова. И ни разу уж не повторился тот, первый, счастливый вечер, когда они были вместе, втроем: Алькор и Люся видели только друг друга.

Мама, забежав как-то днем, обнаружив порядок в доме и щи в холодильнике, насторожилась.

— Что тут у вас происходит?

— Ничего,— не отрываясь от уроков, ответил Горбунов, а брат и вовсе промолчал.

— Как это ничего?— взвилась мама.— А прибирается кто? Боря, я тебя спрашиваю!

— Тебя это очень волнует?— огрызнулся брат.

— Представь себе! Я не желаю, чтоб ты водил домой девок! Бессовестный, на глазах у Гелика!..

— Она не девка,— хмуро сказал Алькор.— Я женюсь.

— Я тебе женюсь!— закричала мама.— Сопляк! Я этой потаскуе устрою! Выдумал еще...

Он тоже закричал:

— Хватит, надоело! Не вмешивайся в мою жизнь, мне позавчера восемнадцать исполнилось, я сам знаю, что мне делать!

Она еще долго кричала, а брат уткнулся в книжку и не отвечал больше. Кончилось тем, что мама отхлестала его по щекам и ушла. Алькор тоже хлопнул дверью и исчез. Впрочем, он скоро вернулся, а потом прибежала с работы Люся, они закрылись от Горбунова на кухне, и весь вечер Горбунов слышал их голоса и смех. Им было хорошо вместе, они ссорились, мирились, и никто им больше был не нужен. Горбунова они просто не замечали, он стал в доме совершенно лишний и переключал в подъезд, где опять собирались «трудные» подростки.

В подъезде было весело: курили, болтали, рассказывали анекдоты и страшные истории. В февралье седеям это надоело, и они вызвали участкового. Участковый матерился и грозил упечь всех в колонию, если еще раз увидит в подъезде.

Холода все не кончались, деваться было некуда. Однажды выпили и взломали киоск «Союзпечати», просто так, от скуки, от злости; взяли журналы, открытки, ручки...

Горбунову досталось семь ручек и пачка конвертов. Конверты он выбросил (писать-то ему было некому), а ручки спрятал под ванну и неделю жил в страхе: заведя на улице милиционера, вставал как вкопанный, камень (это за ним, сейчас его заберут в тюрьму). Но все милиционеры проходили мимо, никто не обращал на него внимания, разве что какой-нибудь прохожий, наткнувшись, бросал раздраженно:

— Ну, чего встал, не болтайся под ногами.

В общем, обошлось, не попало, никто не заметил, что Горбунов вор.

Потом-то он перестал бояться, ну, то есть боялся, конечно, в самый тот момент, когда парни уже выдавили стекло и ушли за угол, и теперь Горбунову надо подойти и залезть в тесное освещенное пространство; он шел, он подходил, сн залезал, а внутри все дрожало от страха, оттого, что увидят, закричат, погонятся. Но все обходилось, они бежали куда-то по ночным улицам, возбужденные, хохочущие, и Горбунов уже ничего не боялся: поди найди их в огромном городе, в лабиринте асфальтовых улиц!

Да их и не искали — подумаешь, киоск, были у милиционеров другие серьезные дела. Не до Горбунова было милиции. Как, впрочем, и всем остальным.

Как это началось, Горбунов не заметил. Ну, конечно, жить стало спокойнее: дружба с «трудными» подростками охраняла его, хлипкого, тщедушного, не умеющего постоять за себя, от дворовых и школьных обид. Раньше-то вечно

его толкали, отпихивали, влезали перед ним в очередь в школьном буфете, отнимали мелочь... А тут вдруг что-то изменилось, а тут вдруг он стал легко проходить сквозь толпу у раздевалки (сперва еще не понимая, в чем тут дело, не догадываясь, что перед ним расступаются), и ненавистная кличка Горбунок, доставшаяся по наследству от брата, обидно подчеркивающая его сутулость, большие оттопыренные уши, зазвучала — вдруг — иначе. Она будто подросла, получила чин и звание.

«Горбунок идет!..» — и все вокруг теперь настораживалось опасно, втягивало голову в плечи, старалось не попасться на глаза новому властелину, невзрачному ученику четвертого класса. Горбунова боялись, и в конце концов, он заметил это. И вот, хоть и был Горбунов не здешний, а с неба, где все доброе, хоть и тоскавал по далекому своему дому, где никто никого не обижает, он легко и быстро освоился с новым своим положением... Ах, как глядел он теперь — искося, с безжалостным прищуром, как лениво сплевывал под ноги, как лихо раздавал щелбаны, теперь уже твердо зная, что ответит ему не посмеют.

Месяц назад он слезно вымаливал у Алькора клюшку:

— Купи, ну, купи, пожалуйста, а то они меня играть не берут, без клюшки зачем я им...

Теперь же Горбунов просто подошел к корту и приказывал кому-нибудь из ровесников:

— Дай сюда.

И отдавал клюшку беспрекословно тот, кому приказано было.

— Свободен,— ухмылялся Горбунов.— Гуляй...

Впрочем, боялись его не только ровесники. Как-то зайдя на переменке в туалет, услышал он отчаянное:

— Отцепись лучше, а то Горбунку скажу...

Это одноклассник Жуков, румяный, интеллигентный ребенок, все четыре года Горбунова в упор не замечавший, отбивался от здорового шестиклассника. А тот, смелый такой (он стоял спиной к двери и Горбунова не видел), отвечал дерзко, что в гробу он видел этого Горбунка в белых тапочках.

— Где-где? — переспросил Горбунов.

Шестиклассник строптиво оглянулся на голос и обмер, и зрачки у него стали большими и темными, и испуганно глядя сверху вниз (Горбунов не доставал ему до плеча), забормотал он:

— Ну чо ты, Горбунок... Ну чо я тебе сделал...

И такое лицо у него стало белое, и тишина такая установилась в этот миг в уборной, и глядели все на Горбунка так, что, конечно же, понял небесный пришелец, чего от него ждуть...

От страха и отчаяния у Горбунова сердце забухало в горле, мешая дышать, он шагнул на ватных ногах, размахнулся и ударил в лицо. Удар вышел так себе, цыплячий: это ведь еще дотянуться надо было, да и драться Горбунов совершенно не умел, но шестиклассник упал с перепугу. А Горбунов с перепугу же — он впервые ударил человека — бросился его поднимать. Ну, потом-то, уже привыкнув и освоившись, он подобных нелепостей не совершал: бить — бил, а вставать уже не помогал, усвоив, что здесь это не принято.

Слава Горбунка росла не по дням, а по часам, и опять, забыв тоску по родине, решил он, что, ничего, жить и тут, оказывается, можно. Он так хорошо устроился в местной жизни, так почувствовал себя тут своим, что некий таинственный орган под названием душа, который там, дома, был для всех главным, а здесь принято было считать его несуществующим, будто и вправду отмер. И уж все не стыдно было, и тоска позабылась, и ничто не ныло внутри.

Так бы и стал Горбунов местным нормальным человеком, если б не один досадный случай.

Как-то во дворе, привычно ткнув кулаком кому-то в лицо и находясь в размышлении, не добавив ли еще разок (ибо наказуемый хотя и не помышлял об отпоре, но на ногах, дерзкий, устоял и слезу не пустил, что вполне можно было расценить как — пусть и не явное, но —

сопротивление), Горбунов почувствовал, что на него глядят (зябко стало спине от этого взгляда), и оглянулся.

У подъезда стоял Алькор. Он стоял и глядел, привычный, в старом пальто, из которого вырос, в единственных своих брюках с пузырями на коленях (Горбунов тогда уже понимал, что одеваются они плохо, и стыдился этого), но глаза у брата были пугающие. Нет, не сердитые, не изобретающие наказание (этим-то Горбунова было уже не напугать), а презрительные, почти не здешние. Будто не со ступенек у подъезда, а с неба глядел он.

— Поди сюда,— сказал Алькор очень тихо, но Горбунов услышал, шагнул тяжелыми, боящимися идти ногами.

— Только подонок,— сказал Алькор,— может ударить человека по лицу.

Горбунов стоял и молчал в ужасе.

— Повтори,— приказал брат.

— Только подонок,— эхом отозвался Горбунов,— может ударить человека по лицу...

И внутри у него опять заняло, заняло от стыда и старой, непрошедшей, оказывается, тоски.

В начале весны что-то произошло между ними: брат стал хмурый, раздражался по пустякам, все время придирался к Люсе.

Почему она мало читает.

Почему она так смотрит.

Почему она молчит.

Почему она говорит глупости.

Почему яйца опять сварены не всмятку.

Люся плакала, забившись в ванную, брат кричал, что все, хватит, надоело, и уходил, хлопнув дверью... Горбунов старался не попадаться им на глаза, дома почти не бывал: морозы прошли, позабылись, подбиралось веселое весеннее время, и компания «трудных» давно переключалась за гаражи, на свежий воздух.

Там их никто не трогал, там, на воле, веселились до поздней, ну, все то же: анекдоты, вино, карты, песни под гитару. А потом появилось новое, дух захватывающее увлечение — угон мотоциклов.

На этих машинах они уносились за город, сбивали глушители и, как сумасшедшие, с ревом гоняли по дорогам. Лето, родное, ласковое, желанное, было еще за горизонтом, но, однако, угадывалось во влажном ветре, который весело, упруго бил в лицо, когда мчались они по уже начинавшим подсыхать дорогам, и какое это было счастье, какая воля — лететь, нести куда-то, прижавшись к теплой, надежной спине, в реве и грохоте, оглохнув, ослепнув от скорости, гонясь за горизонтом, который отступал, расступался, открывая новую даль.

Накатавшись, мотоциклы бросали: зачем беречь, когда на любой улице добра этого...

Когда их, наконец, поймали, Горбунов не испугался, а странным образом почувствовал себя легко и спокойно, будто давно ждал. В милиции он с мстительным удовольствием сообщил свой адрес.

— Родители где работают? — со вздохом спросил пожилой лейтенант.

— У меня нет родителей,— с вызовом ответил Горбунов,— я живу с братом.

Пусть, пусть его вызовут, пусть он узнает, как низко пал Горбунов — вор, угонщик мотоциклов, малолетний преступник. Вот посадят Горбунова в тюрьму — и пусть!

— Чаю хочешь? — спросил лейтенант.

— А ребята где?

— В камере ребята,— сказал милиционер,— сейчас следователь придет...

— Я тоже хочу в камеру! — обиделся Горбунов.— Отведите меня.

Лейтенант налил чаю.

— Все тебе будет,— грустно пообещал он,— и камера, и следователь. Если не справишься. Сыты, одеты, обуты — и чего вам не живется правильно? А? Ну, скажи, хорошо разве это — воровать?

Горбунов знал, что нехорошо, но молчал.

— Честно надо жить, понимаешь? Честно, и тогда все будет хорошо.

— А как? — задал вопрос Горбунов, впрочем, уже не надеясь получить вразумительный ответ, так, по привычке.

— Поговори у меня! — сразу осерчал лейтенант, он не знал ответа.— Зажрались вы, вот что. Войны на вас нету...

Горбунову стало скучно слушать то, что он слышал уже много-много раз и давным-давно знал наизусть.

— Я в камеру хочу,— занял он.— К ребятам. Отведите меня, я тоже преступник...

— Сиди! — раздраженно оборвал лейтенант.— Видали — преступник! Сонька Золотая Ручка — тоже мне!

Алькор пришел, выслушал, что за ребенком надо глядеть, чтоб не шлялся он черт-те где черт-те с кем, а то и до беды недалеко, молча расписался в какой-то бумаге, не глядя взял Горбунова за руку и вывел на свободу.

На улице прозрачный майский вечер стоял, и в светлой вышине уже просвечивали ясные звезды.

— Я думал, ты мне родной человек,— сказал Алькор, все также глядя мимо Горбунова,— а ты ничтожество... Можешь ты мне объяснить, почему тебя тянет ко всякой швали...

Горбунов хотел огрызнуться, что его друзья не шваль, что брат сам его прогнал, променял на Люсю, но, открыв рот, заревел в голос...

Они долго бродили в тот вечер по улицам, где уже туманились будущими листьями тополя, Алькор простил Горбунова, и опять им было хорошо вдвоем.

— У меня кроме тебя никого нет,— сказал брат,— понимаешь? Мне было так плохо без тебя...

Он сказал такое впервые, и Горбунову больно и счастливо стало, как во сне, захотелось немедленно сделать для брата что-нибудь такое хорошее, подвиг какой-нибудь совершить, чтоб Алькор понял, что и у Горбунова никого кроме него в целом свете нет и не надо, но он не знал, что надо делать, и сказать не умел, поэтому просто шел рядом и молчал.

— Уже поздно,— спохватился брат,— домой пойдём?

— Давай еще погуляем,— шепотом отозвался Горбунов, ему не хотелось домой, там уж не поговорить было.

— Ее нет,— понял Алькор.— А хочешь, будем жить, как раньше, вдвоем...

Горбунов кивнул, и на следующий день Алькор уволился с почты, а вечером, когда пришла Люся, они не открыли ей дверь, затаились без света, будто никого нет дома, и весь вечер просидели впотьмах, ожидая, когда она уйдет. Но она не уходила, сидела, сидела на скамейке у подъезда, долго, до часу ночи, все ждала. И на завтра опять пришла.

Не могли же они всю жизнь просидеть во тьме — и Алькор велел Горбунову:

— Открой и скажи, чтоб она больше не приходила. Горбунов испугался:

— А если она спросит, почему?

Алькор долго молчал, глядел в пол.

— Скажи ей правду: что я ее больше не люблю...

Горбунову было страшно. Он крался на цыпочках к двери, а звонок все звонил, звонил, и надо было открыть дверь и сказать...

— А он уехал,— сказал Горбунов.

— Уехал?... — тихо переспросила Люся.

— Ну да. Еще вчера. Он решил в мореходку поступать... Он тебе привет передавал...

Люся молчала, смотрела на Горбунова зелеными перепуганными своими глазами.

— Гелька... Ты скажи ему...

— Он, правда, уехал,— тоскливо пробормотал Горбунов.

— Скажи, что ребенка не будет...

— Он уехал,— сказал Горбунов, как поугай.— Честное слово. Он тебе напишет... Обязательно...

И больше Люся не приходила, они опять по вечерам сидели на подоконнике, тьма за окном пахла молодой травой, тополь снова оброс листвой, а дальше светили



звезды... Было хорошо: началось лето, Горбунов перешел в пятый класс, Алькор решил поступать в театральное — так шло вокруг время, все меняя (времена года, погоду, людей), и только там, наверху, в домашнем мире, где вечность-бесконечность караулила свои звезды, все оставалось по-прежнему.

Брат совершенно помешался на театре. Он говорил только о нем, читал только о нем, думал только о нем. Он хотел стать актером.

— Понимаешь, актеры, они... — взхлеб объяснял он Горбунову, и Горбунов узнавал, что они — счастливейшие из людей, актеры эти: ну, у кого еще такая судьба — прожить тысячи жизней? Сегодня ты Гамлет, завтра Сирано де Бержерак, послезавтра еще кто-нибудь...

Алькору было восемнадцать, и он не знал, что в каждой пьесе, кроме главных ролей, есть еще второстепенные, ему и в голову не приходило, что их тоже кому-то надо играть. Ну, то есть, знал, конечно, но как-то не обращал на это внимания, не задумывался. Например, в «Гамлете», кроме роли Гамлета, существует еще и роль Могильщика, причем, не Первого, который довольно остроумно болтает с принцем о смерти, а, скажем, Второго. Который молчит... Но кто об этом помнит, решив посвятить свою жизнь театру?

— Быть или не быть? Вот в чем вопрос, — доносилось до Горбунова по ночам из-за неплотно прикрытой двери кухни; это брат готовился к экзаменам, а Горбунов слушал, затаившись в постели. — Достоин ли смириться под ударами судьбы или надо оказать сопротивление?..

Новая судьба брата Горбунову была по душе. А мама пришла и рассердилась:

— Тыфу, бестолочь, опять выдумал!..

Но Алькор ее не слушал, зубрил, как положено, басни, прозу, стихотворение, бубнил, бубнил по ночам... «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и... когда вольно и... Вороне где-то бог послал кусочек сыру. На ель ворона, взгромоздясь, поест уж было собралась... «Позавтракать!» — поправлял из своей сонной темноты

Горбунов, «Довольно жить по законам, данным Адамом и Евой, клячу истории загоним.левой!левой!левой!» Хорошо у него получалось, Горбунову нравилось. Вот станет брат знаменитым артистом, а Горбунова будут в киношку бесплатно пускать!.. С этими веселыми мыслями Горбунов засыпал, и жизнь впереди казалась огромной и праздничной, все там, впереди, было хорошо. Вот только по вечерам было стыдно. Иногда. Когда они сидели на подоконнике и мечтали о будущей славе брата, а по двору проходила Люся, несла кому-то телеграммы...

Горбунов холодел и тихо сползал с подоконника.

— Ты чего? — удивлялся Алькор.

Хорошо ему было, безмятежно слепому.

В конце июня, когда брат уехал в Москву поступать, произошли в жизни Горбунова крутые перемены: к нему вернулась мама.

Она вернулась не одна.

— Познакомься, Гелик, это твой папа...

«Папа» был огромный бородатый дядька, рядом с которым мама выглядела девочкой-дочкой.

Признаться, Горбунов про этого дядьку знал, он несколько раз видел маму с ним на улице и даже выяснил, где они жили, ходил туда, стоял под дверью, слушал тишину, в которой они жили. Один раз ему подфартило, и он унес с собой счастливый мамин голос (такой он не слышал никогда):

— Павлик, мой Павлик... Дурачок...

Ее Павлик был одет в свитер и джинсы и курил трубку. Он сделал заявление:

— Старик, я люблю твою маму. Понимаю, что тебе это, может быть, не очень приятно...

Горбунов глядел исподлобья, и уж какое тут «может быть» — не сомневайся, дядя!

Пожалуй, «папа» и не усомнился, он был неглуп, какжется.

— Так уж вышло, — сказал он, — и ничего тут не поде-

лаешь. Не знаю, примешь ли ты меня в отцы, но давай во всяком случае попробуем стать друзьями.

— Ну давайте,— хмыкнул Горбунов.— А вы кто?

— Гелик, не груби! — одернула мама.

— Спокойно,— кивнул ей «папа»,— вопрос правомерен. Меня зовут Павел Владимирович, для друзей — Польш...

— Нет, вы биографию расскажите,— перебил Горбунов.

— Не смей дерзить! — крикнула мама, краснея.

— Мне сорок лет,— с несердитой усмешкой отозвался Польш.— Я журналист. Хороший, между прочим... Что еще?.. Был женат, развелся

— Почему? — заинтересовался Горбунов.

— Гелик, замолчи немедленно!

— Это сложно, старик,— вздохнул Польш.

— Ничего, я попробую понять,— заверил Горбунов.

— Видишь ли, у нас не было детей и...

— Павлик, я не понимаю,— с растерянной злостью перебила мама,— чего ты перед ним отчитываешься, не его это дело!

— Танюша, помолчи немного, ладно? — строго и ласково попросил Польш.— Это его дело: нам ведь вместе жить...

— Не понял,— снова надерзил Горбунов.— Вы на ком женитесь? На маме или на нас с братом?

Польш захохотал. Он топал ногами, хлопал Горбунова по плечу.

— Отличный вопрос, старик, двадцать копеек! — наконец сказал он, вытирая веселые слезы.— Из тебя будет толк. Отвечаю на вопрос: женюсь я на вас — на всех вместе, если ты не против. Семья должна быть большой и веселой. И сообщаю тебе по секрету, что на вас с Бобом мы не остановимся...

— Как это? — не понял Горбунов.

— Очень просто, старик. У тебя скоро будет сестренка. Как ты на это смотришь?

— Быстро... — хмуро отозвался Горбунов и уставился за окно (там ветер мотал ветви тополя, и собиралась роскошная июньская гроза), он знал, откуда берутся дети, и смотреть на маму и на Поля не мог.

— Что — быстро? — переспросил Польш.

— Заделали вы ее быстро,— разъяснил Горбунов.— А ваша старая жена, она теперь как?

— Ты очень злой человек, Гелик,— сказала мама и заплакала.— Немедленно встань в угол.

Горбунов хмыкнул: неужто она надеется, что в углу он станет добрее?

— Ты слышал, что я тебе сказала?

Горбунов слышал, но стоял на месте, от непонятной тоскливой обиды щипало в носу и почему-то хотелось умереть: не видеть, не слышать ничего.

— Вот родите себе нового ребенка,— ответил Горбунов, сдерживая слезы,— и — пожалуйста! И ставьте его — сколько вам влезет!

Жили они теперь у Поля, в огромной старинной квартире в центре города (высоченые потолки с лепниной, вощенный паркет, за большими окнами шум главной улицы). Горбунов квартиры боялся. Тут хозяйничал пятнистый дог Кузя, не злой, но не спускающий с Горбунова внимательного стерегущего взгляда, будто знал, что Горбунов вор. Потом они привыкли друг к другу, и Горбунов гулял с ним по двору. Но радости не было. Это был чужой пес, чужой двор, и надо было потом возвращаться в чужую квартиру, полную чужих вещей и чужих запахов, среди которых совсем потерялся единственный, с детства родной запах — маминых духов «Белая акация»...

Брат уже две недели лежал на диване, глядел в стену, и лучше было его не трогать. Он говорил только одно слово:

— Отстань.

Лежал он так и молчал с той поры, как вернулся из Москвы. Он провалился.

Иногда Польш садился к нему на диван, уговаривал:

— Да брось, старик, подумай! Нашел из-за чего впадать в меланхолию. Вставай, ну!

Брат не отзывался, зарывался лицом в подушку.

Горбунов подполз к нему ночью:

— Алькор, ты не спишь?.. Ну, я тебя очень прошу...

Брат молчал, притворился спящим.

В конце концов, Польш не выдержал, грохнул могучим кулаком по субтильному, с гнутыми ножками столику:

— Ну все, хватит! Боб, ты мужчина или ты просто так? Ведь время уходит...

Он сгреб пасынка в охапку, затолкал в ванну и включил холодный душ.

— Отстаньте, не трогайте меня! — взвыл брат.— Пустите, холодно!..

Дело было светлым июльским вечером, ужинавший на кухне Горбунов кинулся ему на помощь, но был ухвачен мамой за рубашку:

— Сядь спокойно и ешь.

— Пустит!

— Я кому сказала!..

И когда он все-таки вырвался и влетел, злой, готовый кусаться и царапаться, в ванную, чтобы спасти брата, Алькор и Польш, оба одетые, оба совершенно мокрые, стояли под душем и хохотали...

— Не трогайте его! — крикнул Горбунов, еще не понимая, что все в порядке, а Польш подцепил его мокрой могучей рукой — Горбунов только взвизгнул, когда холодные струи ударили в лицо, потекли за шиворот...

— Павлик, ты с ума сошел! — рассердилась мама.— Как маленький. Вылезайте немедленно.

И пока Горбунов и Алькор передевались, хохоча и пихаясь, в сухое, Польш звонил кому-то (на полу вокруг него натекала большая лужа), говорил мягким, значительным голосом о сыне, способном парне, угодившем в депрессию.

— Ну, ты же знаешь, старик, это всегда случается не вовремя...

«Старик», видимо, знал, и Польш договорился, что завтра он сам принесет в приемную комиссию документы, что публикаций с Бори Горбунова спрашивать не будут и что на экзаменах «старик» (декан факультета) за ним пригласит...

Алькор поступил в университет на факультет журналистики.

— Я тебе напишу,— сказал он и уехал на картошку, а Горбунов опять остался один.

Он все не мог привыкнуть к новой своей жизни и жил как во сне. В этом сне у него были новенькие джинсы и кроссовки, в этом сне его вкусно кормили и он ходил в новую, какую-то необыкновенную школу, где учителя неукоснительно говорили ученикам «вы» и никогда не кричали. И мама была всегда дома в этом сне, только дом был чужой, Горбунов жил там как в гостях и, просыпаясь утром, пугался: где я? А сон продолжался: гудела за окном троллейбусами чужая улица, постучав, заглядывал Польш: «Ты готов? Я подброшу тебя до школы»... А письма от Алькора все не было, не было, Горбунов тосковал, снил сам себе домашним, приличным ребенком, который будто всю жизнь только и делал, что возвращался домой не позже девяти, уходя, говорил маме, куда он собрался и даже спрашивал, можно ли ему туда... Скучный, тоскливый сон, где только небо и осталась родным, светило знакомыми звездами.

— Гелик, уже десять, ложись спать,— командовала мама.

Горбунов не спорил, уходил в комнату, которая считалась «его», раздевался, аккуратно складывал на стуле новую одежду, забирался в постель.

— Спокойной ночи, малыш,— заглядывал Польш.

— Спокойной ночи,— вежливо отвечал Горбунов, а потом лежал, скучал (засыпать рано он не умел), слушал, как мама и Польш тихими праздничными голосами разговаривают о сестре, которая скоро должна родиться.

Потом и они укладывались, дом затихал.
— Кузя...— шепотом звал Горбунов, и в темноте раздавалось неторопливое клацанье когтей по паркету.

Кузя приходил, невидимый в темноте, вставал рядом, дышал вопросительно.

— Спи тут,— просил его Горбунов.

Кузя покорно бухался на ковер у кровати, но через несколько минут поднимался бесшумно и уходил: ему было скучно с Горбуновым, он хотел спать рядом с хозяином. Горбунов лежал, бездумно пялясь во мрак, тоскуя по прошлой жизни, по брату, а утром почтовый ящик опять высыпал только кучу газет, письма не было.

Алькор вернулся в середине октября, веселый, шумный, не похожий на себя: он запустил легкую, редкую бородачку и начал курить. Он громко разговаривал и много улыбался, он перестал сутулиться. Пора единственных, с пузырьками на коленках, брюк и стоптанных ботинок кончилась, куда-то пропали очки, перемотанные изолентой: джинсы, мокасины, тонкий джемперок... И уже какая-то своя, отдельная от Горбунова, жизнь началась у него, утром в университет, днем брат носился по городу, делал «информашки» для газеты или торчал в редакции у Поля, вечером, можно понять, ему тоже было не до Горбунова. Он жил торопливо и радостно, свои дела, свои друзья, свои планы на будущее, а Горбунову он говорил:

— Привет, старик!— или:— Пока, старик!— и добродушно подмигивал, как маленькому, будто не было никогда вечеров на подоконнике, тайного братства.

Жизнь тянулась потихоньку, удобная, беспечальная, ничем не задевающая, так, шла себе мимо, и назад уже не вернуться. Только раз потянуло старым сквозняком: брат не пришел ночевать, а на следующий день мама устроила скандал.

— Где ты был, мне нельзя волноваться, а я всю ночь не спала!

Голос у нее был раздраженный, громкий, родной— из тех, прежних времен, когда, забежав домой, она принималась отчитывать брата за какую-нибудь очередную дурость. И брат, еще секунду назад улыбавшийся, видно, тоже припомнил былое, посмурил, ссутулился.

— Порядочные люди ночуют дома!— кричала мама.

— Неужели?— спросил Алькор, глянув искоса.— А я и не знал.

— Не смей хамить матери, паршивец!— почему-то совсем вышла из себя мама.— По губам давно не получал?

И такой знакомый, беспомощный, готовый сорваться на дерзость и на слезы выглянул брат из себя, но лишь минуту это все продолжалось: в этом доме жили по другим правилам.

— Татьяна, прекрати,— вмешался Поль.— Он взрослый человек.

— Он сопляк! Пусть скажет, где шлялся!

— Это тебя не касается,— огрызнулся брат.

— Ох ты какой самостоятельный! Кормят тут его, одевают, а он сел на шею, ноги свесил!

— Татьяна, я прошу тебя, замолчи,— сказал Поль, но его «прошу» было больше похоже на приказ.

— Не вмешивайся,— в запале выкрикнула мама.— Это мой сын, он будет вести себя как положено, или...

— Или?— прищурился Алькор, губы у него дрожали.

Поль подошел к серванту, достал оттуда тоненькую, просвечивающую чашку и бросил ее на пол.

Мама ахнула, вскинула на Поля испуганные, блестящие глаза.

— В этом доме,— спокойно сказал Поль,— никогда не было скандалов. И не будет. Боб, будь добр, если ты не приходишь ночевать, позвонить и предупредить, чтоб мы не волновались. И прости ее... Ну, ты же видишь...

Мама заплакала, зло кривя губы. Горбунов взглянул и отвел глаза, вдруг заметив, как подурнела она: точеные черты лица расплылись, на тонкой бархатной коже проступили желтые пятна, и огромный мамин живот он будто не замечал раньше...

— Хорошо,— хмуро отозвался брат,— я буду звонить.

И больше скандалов не было. Впрочем, вскоре и не до них стало, потому что родилась сестра Настя, заставив служить себе весь дом. Горбунов бегал на молочную кухню, стирал и гладил в очередь с Полей Настины пеленки. А брат все пропадал где-то, и Горбунов успокоился, почти смирился с тем, что его вечно нет рядом.

Но когда однажды ночью он растолкал Горбунова и сказал:

— Слушай, я, кажется, женюсь,— сердце у Горбунова бухнуло от непонятого страха, зябко стало от налетевшего прощального ветра.

— Не надо,— торопливо отозвался Горбунов.— Зачем? — Тише ты!— засмеялся брат.— Всех разбудишь,— и до утра рассказывал Горбунову о своей любви, о Лене.

В ту зиму они еще несколько раз полноточничали, говорили о будущем счастье брата. Ну, то есть Алькор говорил, а Горбунов как всегда слушал и привыкал, и уже любил вместе с братом, и ждал, когда она появится, и как им будет хорошо втроем. Но потом оказалось, что Лена вовсе не имеет в виду делить брата с кем бы то ни было.

Весной брат женился и ушел жить на старую квартиру.

Лена была старше брата, она уже кончала университет. Мама невзлюбила ее с первого взгляда и утверждала, что вышла Лена вовсе не за балбеса Борю, а за служебное положение его отца.

Поль, действительно, спас Лену от распределения в тьмутаракань, устроил в областную молодежную газету, из-за чего мама устроила ему очередной скандал, Горбунову довелось быть его невольным свидетелем: дверь в его комнату плотно прикрыли, не вспомнив, что уж неделю он спит на балконе в гостиной.

Мама плакала, взбешенным шепотом объясняла Полю, что он пригрозил на груди змею, что эта карьеристка и мерзавка не зря присосалась к их семье: мама прекрасно видит, какими глазами эта шлюха глядит на Поля...

Поль хмыкнул.

— Да-да!— сказала мама.— А тебе это льстит. Вам, козлам, всегда льстит, когда на вас молодые дуры пялятся!

Поль захохотал, подхватил маму на руки, но проснулась и заплакала Настя, они долго уторкивали ее, ворковали над ней, а потом Поль сказал маме:

— Дурочка моя маленькая, мне кроме тебя никого не надо.

Мама засмеялась тихим, особенным смехом. Горбунов на балконе с головой залез под одеяло, сосредоточился на том, что надо успеть уснуть, пока мама и Поль не занялись любовью, и потому, чем кончился разговор о жене брата, не узнал. Да вряд ли и кончился чем-то...

Первое время он ездил к ним в гости— на трамвае, через весь город. Горбунов стоял, зажатый суровыми пассажирскими спинами, а сердце стучало, веселясь: домой, домой! Трамвай же гулко катил по рельсам все дальше от постылого центра с его широкими, прибранными напоказ улицами, и постепенно давка исчезала, в вагоне становилось все просторнее, а дома вокруг стояли все теснее, это начинались рабочие окраины-«хрущобы», неухоженные, унылые, где дома стояли впритирку друг к другу, неотличимые, как дети в сиротском приюте... Но Горбунов любил эту местность и тосковал по ней, как по родине.

Впрочем, и там уже все изменилось, и там уже не было чувства, что вернулся домой: старую квартиру отремонтировали, Поль купил молодым мебель, Лена завесила родные стены коврами, —и какая-то другая жизнь возникла там, неузнаваемая, не принимающая Горбунова.

Лена тоже ненавидела маму, полная взаимность царила в их отношениях.

— Ну, как там у вас?— спрашивала она, когда Горбунов приезжал.

— Хорошо,— ответил он, чувствуя, что такой ответ неприятен Лене, что ей больше понравилось бы, если бы у них там было плохо.

— Семейное счастье в разгаре?— с непонятной, но почему-то задевающей Горбунова интонацией говорила она.

Горбунову хотелось, чтоб Алькор велел ей замолчать, но брат не вмешивался, будто не слышал.

Как-то мама попросила его передать, чтоб брат приехал в воскресенье, помог на даче. Он передал. Лена услышала и взорвалась, закричала на Горбунова:

— Вот здорово! Теперь, когда у твоей мамы есть дача, она наконец припомнила, что у нее, оказывается, есть еще и сын, и неплохо бы ему там поработать! А где она раньше была, эта твоя милая мама?!

— Заткнись!— крикнул Горбунов, обидевшись за маму. Горбунову шел тринадцатый год, и он понимал, что вопрос, заданный Леной, правомерен, но именно это почему-то и было самым обидным.— Не твое собачье дело!

— Че-го?— Лена пошла пятнами.— Ты как разговариваешь со старшими! А ну пошел вон отсюда.

— Я не к тебе пришел,— сжал кулаки Горбунов.

— Ну хватит вам,— поморщился брат, а на следующий день Поль попросил Горбунова больше туда не ездить.

— Почему это?

— Видишь ли, малыш...— вздохнул Поль.— Лена— девочка нервная, ну, а волноваться ей сейчас нельзя, у нее скоро будет ребенок...

— А кто ее просит волноваться,— буркнул Горбунов, сраженный новостью.

— Малыш, я все понимаю, ты скучаешь по Бобу, но, согласись, приходите к нему в гости и оскорблять его жену...

— Нужна она мне, оскорблять ее...

— Я очень прошу тебя. Не надо туда ездить...

— Буду!— упрямо сказал Горбунов.— И вообще, это не ваше дело.

— Видишь ли...— сказал Поль и поморщился, так не хотелось ему продолжать.— Дело в том, что мне вчера звонил Боб и попросил...

— Неправда!— не поверил Горбунов.

Но это была правда.

Горбунов смирился и ездить в бывший дом, где когда-то жили они с братом, перестал. По привычке он не обиделся на брата, постарался забыть и стал жить дальше. У каждого своя жизнь. Вот и Горбунов обжился среди новых декораций. Он привык хорошо учиться: в его спецшколе учиться плохо было непопулярно; и не то чтобы за это ругали и наказывали, а просто относились с пренебрежительным сочувствием. Тому, кто плохо учился, ничего не светило в будущем, это были неудачники, люди второго сорта. Горбунов довольно быстро понял, что быть неудачником стыдно, и учился изо всех сил. После школы он мчался на тренировку, год назад Поль устроил его в хоккейную секцию. Горбунов был маленький, хлипкий, и сначала тренер косился на «блатного» недоростка, но довольно скоро выяснилось, что у него мгновенная реакция, что стремителен и верток он, а главное— совершенно бесстрашен. «Качаться надо, родной»,— сказал тренер, и начались тренировки без передыху: режим, диета, ежедневная утренняя пробежка сквозь времена года, гантели, изматывающее висение на перекладине— надо было прибавлять в росте, в весе. И Горбунов прибавлял, рос потихоньку, мечтая о зиме. Зима теперь была главным временем года. Первый снег, его чарующее, плавное круженье, катушки, лыжи, санки, пленительная нетронутость сугробов, где, накувыркавшись всласть, так хорошо замереть, раскинув руки,— все эти детские приметы зимы уже не существовали для Горбунова, позабылись. Зима теперь была залитым кортом, скоростью, жарким крошевом льда; зима— веселая злость, рывок к воротам, где с нелепой, уже ни от чего не спасающей послежностью перемещается в угол чужой мальчик-вратарь; зима— звонкий щелчок клюшки (вратарь медленно-медленно, как во сне, ог-

лядывается себе за спину в глупой надежде) и восторженный ор болельщиков... И цепкий, одобрительный взгляд тренера.

В эту стремительную, занятую собственными делами жизнь вести о брате доходило глухо.

Как-то вечером, уже засыпая, услышал Горбунов, так, вполуха, торжествующий мамин голос:

— Я говорила, говорила, что все так и будет!

— Перестань,— отозвался Поль,— все у них наладится. Вот родит и помягчает...

Но Горбунов уже засыпал и так и не узнал, в чем там дело.

Весной у брата родился сын Митька, но мир в семье не наступил. Что у них там происходило, из-за чего они ссорились, Горбунов не знал. Да и не интересовался. Он был влюблен большой отроческой любовью, причем, несчастливо, и, разумеется, ему было не до того. А в доме, где когда-то, давно, жили они с братом, скандалы набирали обороты, и когда становилось совсем уж невыносимо, брат сбежал, переезжал жить к Полю. В университет он в эти несчастливые дни не ходил, молчаливый, угрюмый, слонялся по квартире или сидел на кухне, курил одну сигарету за другой.

— Боря, прекрати курить,— сердилась мама.— Настя скоро задохнется от твоего дыма.

— Всем, ну всем мешаю,— огрызался брат.— Может, мне вообще не жить?

Он одевался, уходил, хлопнув дверью, и возвращался только поздно вечером, насмешливый, недобрый. От него пахло вином.

— Пьяный опять,— раздраженно констатировала мама.— Вот попадешь в вытрезвитель!

— Оставь меня в покое,— морщился брат.— Не все ли тебе равно?

Он опять курил, пялился в темень за окном, а потом, наскучив своими мыслями, принимался измываться над Горбуновым.

— Ну, как успехи в ледовых битвах?— с усмешкой интересовался он.

Горбунову было что рассказать, и сначала, приняв интерес брата за чистую монету, он докладывал взхлеб о секции, о тренере, о ребятах из команды. Но брат только ухмылялся, кривил презрительно губы:

— Ну-ну. Значит, ты у нас теперь спортсмен. Сила есть— ума не надо... Хорошо устроился.

И не пробиться было сквозь его пьяненькую ухмылку.

— Оставь Гелика в покое,— вмешивалась мама.— Ему уроки делать надо. Сам не учишься, так хоть ему не мешай.

— Ох ты боже мой,— начинал кривляться брат,— какие тут все приличные люди!

— Да!— заводилась мама.— Представь себе! Не то, что ты! Ложись и спи, раз пьяный.

Брат корчил рожи:

— В семье не без уроды, что ж поделаешь. В такой замечательно благопристойной семье— и вдруг нате вам, а? И откуда такая напасть... Каюсь. И как мне не стыдно, сам не пойму!

— Вчера пьяный, сегодня пьяный!— кричала на него мама.— Позоришь нас перед соседями, бессовестный. Ты что, не знаешь, какой это дом?

— Соседи— это серьезно,— глумливо соглашался брат.

Они унимались только с приходом Поля (он возвращался с работы поздно), при нем в доме наступал мир. Покуроелив неделю, брат мирился с женой и возвращался домой, а через месяц-другой опять появлялся. Потом он стал пропадать вовсе, ни дома, ни у Поля, ни в университете не появлялся.

Звонила Лена, раздраженно спрашивала, где он.

— А вот этого, милочка, я не знаю,— с радостной злостью отзывалась мама.— Это тебе лучше знать, ты ведь, как-никак, жена ему.

— Я потому и спрашиваю, где он шляется.

— А надо так вести себя, чтоб мужу хорошо было дома. Тогда он и шляться не будет. Мой муж почему-то живет дома, милая моя.

— Знаете, Татьяна Петровна, стервам часто везет на мужей,— уже не сдерживая ненависти, говорила Лена.— А порядочным женщинам достается всякая дрянь, вот я и вожусь с вашим слюнтяем и импотентом...

Мама бросала трубку, а когда брат, наконец, появлялся, выныривал из какой-то новой, непонятной жизни, отчитывала его:

— Боря, как ты с ней живешь, с этой наглой, жирной бабой?

— Татьяна! — рявкал Поль, но, когда речь шла о Лене, маму было не остановить.

— Эта дрянь разнесла по всему городу, что ты слабый мужчина. Конечно, ей коня надо! Боря, ты женился на шлюхе, и я не удивлюсь, если выяснится, что это не твой ребенок...

На третьем курсе у брата начались неприятности в университете — он совсем забросил учебу. Его бы давно выгнали, но «старик» был хорошим другом Поля...

Впрочем, эти подробности жизни брата не занимали Горбунова, у него была своя жизнь, полная юных надежд и тревог, а унылая тень брата маячила где-то там, на обочине его удачливой, идущей на взлет судьбы.

К девятому классу Горбунов вымахал под притолоку, раздался в плечах, видно, усиленные тренировки не прошли даром. Впрочем, хоккей он давно уж бросил: юноши его круга не гоняли шайбу. Теннис, горные лыжи — это да, вполне достойно. А хоккей он теперь смотрел по телевизору, как положено хорошему ученику хорошей школы, приемному сыну известного в городе журналиста.

Одноклассники уже всю обсуждали планы на взрослое будущее, прикидывали, куда поступать после десятиго. Кто в политех, кто в универ, некоторые собирались попытать счастья в столицах, девочки дружной толпой метили на иняз, даром, что ли, им ежедневно вбивали в головы английский. У Горбунова с языком было без проблем: дома вместо «Комсомольской правды» он читал «Таймс» (Поль приносил), американские военные журналы, а то и «Плэйбой». Поразмыслив, Горбунов выбрал местом будущей учебы МИМО и даже известил об этом одноклассников. Одноклассники присвистнули, а Поль, узнав, сказал:

— Ну, это вряд ли.

И Горбунов без сожаления забыл об этом своем намерении. В конце концов, впереди было еще два года, куда спешить — боги не суетятся.

Горбунов учился, играл в теннис, гулял с Кузей — ухоженный, хорошо одетый, умеющий за себя постоять мальчик с главной улицы, свой среди своих. Заброшенная квартира на окраине, вареная картошка, взломанные киоски «Союзпечати» — полноте, да с Горбуновым ли это было? Та давняя, странная, достойная презрения жизнь забылась. И никогда Горбунов и не вспоминал бы о унылой, стыдной той поре, если бы не брат.

Брата исключили из университета...

Брат развелся с женой...

Брата забрали в вытрезвитель...

Все в жизни брата было постыдно, нелепо, плохо — будто продолжалась та, прежняя, тоскливая жизнь, про которую Горбунов забыл и не хотел вспоминать.

А как не вспомнить? Вот Горбунов идет по городу (хорошо еще, если один, а не с друзьями), а в сквере, прямо на траве, сидит оборванец со знакомым лицом — драные джинсы, шлепанцы на босу ногу, черная лента через лоб, какие-то побрякушки на груди...

— Горбунок, глянь, хиппи!

Но Горбунов не глядит, решительно и целенаправленно проходит мимо, пока брат не узнал, не окликнул... Где он жил? Чем занимался? Что ел?

Иногда, редко, брат объявлялся дома. Он звонил в

дверь, возникал на пороге, сутулый, худой, в разбитых очках, косо съехавших на кончик носа, похожий на большую бездомную птицу. И сразу начинался крик.

— Тунеядец! — неистовствовала мама. — Когда ты, наконец, устроишься на работу!

— Я что, денег у вас прошу? — почти со слезами огрызался он. — Что тебе от меня надо?

— Погляди на себя в зеркало, бессовестный!

— Отстаньте от меня, не трагите, не лезьте в мою жизнь! — кричал он с отчаянием.

— Ты нам не чужой, Боб, — вздыхал Поль. — Мы просто хотим тебе помочь...

Горбунов не вмешивался, уходил к себе в комнату, закрывал дверь, ничего, кроме брезгливого раздражения, не испытывал он. Алькор и давняя, отчаянная дружба, скрепленная вечными звездами и одиночеством под ними дух мальчиков, стала туманной тенью, Горбунов о ней не помнил. Он давно уж любил других.

Она сама пришла, Горбунов открыл дверь и замер на пороге.

Они уже неделю не разговаривали и даже не глядели друг на друга.

На Первомай в классе затеяли поход, тайный, без учителей (дома-то, конечно, сказали, что идут с классной). Весна выдалась ранняя, яростная, с буйной ночной грозой в последний день апреля — и сразу земля, деревья будто взорвались: наутро было лето — листья, трава, зеленый, ласковый день играл на дудочке, выманивал своих детей из города.

Едва дождавшись конца демонстрации, они собрали палатки и сбежали — вон, вон из города. Сидели у костра, пили вино, дурачились, и сколько разговоров было о грядущей воле: вот и все, вот и переходим мы, братцы, в десятый, в последний свой класс — чуть-чуть потерпеть и разлетимся из золотой клетки, ура!

А они вдвоем сбежали от костра, от разговоров и смеха, во тьму и тишину леса, где одуряюще пахло водой, травой, свободой. Они долго и торопливо шли куда-то по берегу озера, останавливаясь лишь для поцелуя, и Горбунов, забыв обо всем, стал нетерпелив и настойчив, она испугалась, оттолкнула его, Горбунов оступись на крутом берегу, нелепо всплеснул руками, свалился в холодную воду. Она убежала. Горбунов вылез на пустой берег и заплакал от злости и унижения.

Теперь она пришла, и они принялись целоваться прямо в прихожей, а мама и Поль неделю назад уехали в Крым: Настя всю зиму не вылезала из ангины, и велено было вести ее в Евпаторию.

Был светлый вечер тогда, тополь за окном туманился листьями. Она сказала:

— Хочешь, я останусь?

— А дома? — спросил Горбунов.

— Все на даче, — объяснила она шепотом.

Горбунов постелил им постель.

— Выйди, — попросила она, — я разденусь.

Горбунов вышел и, стоя в прихожей, лихорадочно припоминал все, что он слышал и читал на эту тему. Ничего не вспоминалось.

Она позвала:

— Иди.

Он вошел, выключил свет, стал раздеваться в прозрачной летней тьме, залез под простыню, и оба замерли, затаив дыхание, не касаясь друг друга.

— Иди сюда, — сказал Горбунов. Ему ничего не хотелось, но молчать было глупо.

Она придвинулась, обняла Горбунова и вдруг засмеялась:

— У тебя ноги, как ледышки...

А утром он проснулся от чужого взгляда, это брат стоял в дверях и смотрел. Горбунов подумал сперва: сон.

— Ну-ну, — хмыкнул брат. — И часто ты приводишь домой девок?

— Заткнись, — сказал Горбунов шепотом.

Брат засмеялся.

— Эй, Джульетта, вставай, школу проспичи!

Она лежала, плотно зажмурив глаза, но ресницы выдавали ее.

— Ну просто спит непробудным сном,— ухмыльнулся брат.— Утро золотой молодежи...

Он был пьян с утра пораньше.

— Пошел вон, я кому сказал! — приказал Горбунов.

Но ему было весело, он принялся стаскивать с них простыню, вопя во всю глотку:

— Вставайте, спецшкольники, в школу пора!

Горбунов вскочил, с наслаждением врезал ему, и когда брат, скорчившись, рухнул на пол, выволок его из комнаты и запер в ванной.

Они одевались торопливо, не обращая друг на друга внимания, скорей, скорей, лишь бы разойтись, лишь бы кончился этот стыд, а он бился в дверь ванной и матерился надсадно.

— Не надо, не провожай,— всхлипнув, сказала она, убегая.

Горбунов, разумеется, в школу не пошел, кинулся назад, чтобы врезать от души этому пьяному придурку.

Придурок уже успокоился, сидел в ванной на полу, тихий, тоскливый.

— Ну, ударь,— усмехнулся он и встал.

Горбунов ударил

— Ну, еще,— сказал брат, сплевывая кровь. Он едва доставал Горбунову до плеча.

Горбунов скис, процедил сквозь зубы:

— Руки о тебя пачкать...

Брат заглянул в зеркало, вытер кровь с подбородка, сказал трезво и зло:

— Главное, не верь им. Никакой любви нет, это так — инстинкты.

— Да заткнись ты,— брезгливо отозвался Горбунов.— Много ты в этом понимаешь..

Весь май и июнь он любил и сходил с ума, а в июле уехал в Болгарию, Поль достал путевку в международный молодежный лагерь. Неделю Горбунов тосковал, писал письма, не обращая внимания на других девушек. Но неделя прошла, и на пляже Горбунов оказался рядом со смуглой, темноглазой девчонкой из неведомой Черногории. Ее звали Данута.

— Зачем вы так грустный,— сказала она, чудесно коверкая слова.

Горбунов сказал почему.

— Это я понимаю очень,— кивнула Данута; ночью они пошли купаться и до конца смены уже не расставались, потому что Данута сказала в ту, первую, ночь у моря:

— Ты нехорошо умеешь любить, я буду твоей научительницей.

Горбунов обиделся и хотел уйти, но она не отпустила, прижалась к нему, погладила по щеке смуглой, легкой рукой.

— Не сердись. Мужчина всегда не умеет любить, пока его не научит женщина. Это не стыдно.

И Горбунов учился, учился, путая дни и ночи, забыв обо всем на свете, и, казалось, сердце разорвется от отчаяния, когда пришла пора расставаться.

Горбунов уезжал раньше, Данута проводила его до автобуса.

— Твоя девушка, которая ждет тебя, будет довольна,— сказала она на прощанье.

Но у девочки, которую Горбунов любил весной, летом появился другой мальчик. Горбунов не придал этому значения, он чувствовал себя взрослым мужчиной и ту, первую свою, полудетскую влюбленность вспоминал с улыбкой.

Осенью пришла новая любовь, взрослая, сумасшедшая, тщательно от всех охраняемая, и жизнь была полна ожиданий и тайных встреч. Ах, как хороша была жизнь!

Однажды зимой брат появился дома среди бела дня, долго бродил по квартире, пялился за окно, а потом сообщил Горбунову, что решил умереть.

— Да ну? — чистя сапоги, хмыкнул Горбунов, он собирался на свидание.

— Когда это случится, вот тут письмо. Отдайшь... Слышишь?

— Слышу, отвяжись,— раздраженно отозвался Горбунов.

Брат был болтун, никчемный человек. Горбунов презирал его, неудачника паршивого.

ОКОНЧАНИЕ СЛЕДУЕТ



Трехгранное время

Игорь Пьянков

Рис. Владимира Ганзина



К зиме 1917 года в Бузулуке скопились рабоче-красногвардейские отряды из Самары, Челябинска, Казани, Миньяра, Перми. Всего в районе города под рукой штаба Оренбургского фронта имелось чуть за две с половиной тысячи бойцов. Во второй половине декабря продвижением по железной дороге началось наступление на Оренбург. Была занята станция Платовка, сломлены юнкерские части под разъездом № 13 и уже, с большим напряжением овладев разъездами № 15 и № 16, красногвардейцы подошли под станцию Каргала.

...Антон добровольцем вступил в отряд большевика Чевырева. Родители его с прочими ловцами крестьянского счастья съехали за четыре года до рождения первенца с тесной земли Харьковской губернии и, купив участок степи у оренбургского помещика Петра Деева, основали в пятидесяти верстах от Оренбурга село Петровка, в котором вскоре и забелели милые их сердцу хаты.

Антон стал красногвардейцем, хотя вместо винтовки держал в руках вожжи. Он и взят был из-за лошади, худой и низкорослой, что привел за собой. Развозил хлеб, доверяли патроны. На четырнадцатилетие бойцы подарили ему найденный в разбитом вагоне красный ватный халат, какие везли в подарок бухарскому хану.

...В телеге Антона, под сеном, лежал молоденький прапорщик. Отутюженная в городской пращечной форма его еще не была обмята, лишь кое-где под обшлагами рукавов и на галифе налипла мазкая глина разъезда № 13, где и взяли его в плен. Шагни — слаще первого снега заскрипят хромовые сапоги.

«Пронесло... — проехав очередной казачий разъезд, перекрестился Антон за терпение, что не разул офицера, как ни жгло

примерить. — Поди-ка позлобше глянули б казаки, увидь офицеру обувку. Можя, просто отпорол, а можя... — уносясь от засевшей мысли, Антон круто пропустил вожжами по крупу лошаденки, но, сделав несколько резвых скачков, та вновь перешла на тоскливый шаг. — Вот выберусь до наших, тады побачим. Глядишь, и отдадут в награду!» — Обутые в лапти ноги не соглашались забыть о сапогах.

Так ехал он и мечтал, пока не заосил, сцепился с крестьянской телегой, шибко пошедшей под склон. Спрыгнув на землю, беззлобно запричитав, мужичонка кинулся оглядывать колесо.

— Слышь, дядя, впереди шо? — Деревенька, чему ж тут быть... Кого сыскиваш?

— Давай-ка без спросов! Гутарь как велено, — строго обрезал Антон.

— Коли так... — крестьянин посерчал. — Вишь рогатина? — он ткнул заскоружлым пальцем в расходящуюся по склону дорожку. — И по той — хутор за бугорком, и по этой не дальчи. А сюда поглянь — и за колком третий.

— Насчет казаков, али юнкеров, али еще какой контры как?

— Золотые к железке прибились, под рельсами сидят. Бородачи ж тут, что тебе медовушные, колобродят... Да ты на дальний, за колок держи. Оттедь, кажись, сошли днями.

— Сам-то, часом, не казак?

— Куды... Рожей не вышел, — улыбнулся шербатым ртом крестьянин. — Ну, вали, вуюю новую жизнь, коли не порот.

Перебрав вожжи, Антон потянул на подъем. Так расплачивался он за невольный сон, сморивший на дороге, и за неразумную лошаденку.

Под вытянувшимся со дна оврага трезубцем из толстенных осокорей, что, забыв тонкостволь-



ное братство на степном ветру, давно отпихивались друг от дружки, отчего купы их пригибались к земле, присело отдохнуть и укрыться от пронизывающих порывов трое казаков. Один, кроме годов вдвое от молодых, разнился еще бородой в лопату и полоской старшинства на погонах.

— ...Вона куды забираешь! Я-то и не пойму сперва... Понеже разобраться, оно и верно — супротив Расен не сдюжим. Токмо другой стежки нам нетуть. Оттедь большевики хомутають, москали, стало быть, отседь Дутов. При такой чересполосице шашку в ножнах не сдержишь... Оно, может, по-молодому нынче и зазорно Войсковому подчиняться, так извиняйте, мы старинушкой гнуты, атамана чтить приучены. И как мы Александра Ильича над собою ставили...

— Эх, кабы мы...

— Ну ты, цыц! Не посмотрию, что одной крови, мазану по губам! — То ли с разговора, то ли от колючести кое-как наломанного с осокорей ветвя, старший поднялся, зашел на подветренную сторону костерка. Вынув из-за голенища ложку, основательно отерев о рукав, зачерпнул из котелка, подул. — Кажись, сготовилась! Слышь, что ль?

Тогда молодые, сняв и оттянув на палке в сторонку, поставили котелок на снег, туда, где в козлах ждали винтовки.

— Батянь, сказывають, офицеры германца пропускають, он уж под Москвой хозяевами расселся. Ажель к нам доберется? Как оно запоём?

— Никак агитируешь? Я в подлокотники ни к кому не пойду. А о тебя, Мишка, оглоблю острую, ежель брехать станешь. Но то знай... Я в их распутия не влажу, но и себя пожрать не дам. За землю двадцать годков службой умывался. А деды-прадеды не поили степя кровию? Так которые на готовку прут, нехай прежде вот этого спробуют! — казак сунул в лицо сыну убедительный кулак.

— Как понять не хошь, ведь стар уж... Москали германца воюють, а мы ему сапоги чистим.

— А ты, знать, голодранцам норовишь? У них сапог нетуть, так они тебя не то вылизывать сподручат.

Послышался скрип колес, лошадиное фырканье. Казак, доселе

не вступавший в разговор и молча черпавший из котелка, ухватив винтовку, закарабкался на край оврага.

— Эй, вороти дышла! Стой, говорю! Стой, азиат! — для острастки он щелкнул затвором, но, разглядев под халатом пацана, успокоился, поскущел. — Кто таков? Откель прешь? — допросил уже без интереса.

— Це сено... тетке. Стара она, насили ходит... А шо?

— Я тебе дам — шо! А ну скидай!

— Дяденьки... да як же...

— Скидай, — подтвердил подошедший казак. — Скидай. Да не трусь, и тетке достанется, но и нас уважить должен, как про вас же на сырце стынем.

Когда воз был уже изрядно пощипан, Михаил приметил обмотанные тряпкой винтовки. Чуть рядом сапоги... От неожиданности он выпустил на них охапку сена, что собирался нести под осокори.

— Хо-рош! — осипшим голосом закричал он брату, опережая его желание идти за новой порцией. — Давай, малец... дуй отседа! — Михаил хлопнул возницу по плечу, чуть задержав ладонь на красном халате. Лошаденка дернула.

Только отъехав на порядочное расстояние, Антон обернулся успокоиться, что за ним не скачут. Казак махал ему зажатой в кулак папахой.

«Благородие, видать, не в себе, а то пошто ж смолчал? Испужался иль не признал в нас своих?» — Дождавшись, пока телега спадет в долинку, Михаил пустился дочихать кашу. Улыбаясь и покрывая, удивляя аппетитом. Теперь его спор с батей не был уж столь бесследственным.

Александр Петрович очнулся от ощущения, что телега встала. Горчиная боль растекалась от правого бока по всему телу. Хотелось стонать, но он сдержался, прислушался к голосам. Сено над ним зашевелилось, пыль посыпалась в глаза, и он снова закрыл их. По разговору понял, что захвали на казачий разъезд, что фактически он у своих, и стоит закричать...

Но вместо этого, возможно, от проникшего сквозь поределое сено луча, поплыв перед глазами залитый желтым солнцем училищный плац, линейка, задышающая-

ся от первых офицерских погон, повторяющая слова присяги... Да, была присяга... Не разжимая губ, Александр Петрович пропел куплет во славу царствующего дома, тут же оборвал себя и секунду-другую не думал ни о чем вовсе. Много туманно-непривычного зарождалось в голове раненого прапорщика. Без ясных мыслей, без времени на обдумывание, чтобы, как граф Игнатъев, выписать все «за» и «против», но уже тем, что, заклинив пулемет, попросту имитировав оборону, сдал красногвардейцам окоп, сунув с отчаянья грудь под пулю, он уже встал на сторону правого дела, пусть и не осознавая еще всей его правоты и не числя служением ему десятки спасенных жизней, и тем более молчание на казачьем разъезде.

Когда Антон добрался к своим, там спешно готовились к отступлению. Красногвардейцам не хватило слаженности. Плохо обученные, хотя и мужественные, бойцы рассыпали отряды на единицы самостоятельного дерущихся людей. К тому же в тылу притихли казачьи станицы, население которых ждало призыва вызвонить сабли из ножен. Нужно было подкрепление.

Оружие у Антона забрали быстро, но пленным офицером никто заниматься не хотел — дорога была каждая минута. Его определили до раненых, а когда места в телеге стало не хватать, кто-то подал мысль: офицерику бы в расход. И она побежала, побежала и вернулась человеком в застиранной гимнастерке. Не замечая мороза, он молча посмотрел на прапорщика, потом на не вошедших в телегу бойцов и с протяжкой кивнул.

Александр Петрович видел всю однозначность своего положения. Как военный человек, он признавал действия правильными и не осуждал этого задержанного коммиссара. Спокойно, среди общей суеты, опершись на пацана, подошел он к стенке завалившегося амбара. Кое-как стянув с себя сапоги, протянул их пареньку. Больше ни о ком подумать не успел...

Антон был добровольцем. У него никогда еще не было настоящих сапог, и когда-нибудь после он обязательно расскажет, как заснул, и лошаденка сошла с знакомого пути...



рисунки С. Стерешовой

**А. Стругацкий
Б. Стругацкий**

сценарий

Понедельник начинается в СУББОТУ

По улице небольшого северного городка катит запыленный «икарус». По сторонам улицы тянутся сначала старинные крепкие заборы, мощные срубы из гигантских почерневших бревен, с резными наличниками на окнах, с деревянными петушками на крышах. Потом появляются новостройки — трехэтажные шлакоблочные дома с открытыми сквериками. «Икарус» разворачивается на площади и останавливается у крытого павильона. Из обеих дверей начинают выходить пассажиры — с чемоданами, с узлами, с мешками, с рюкзаками и с ружьями в чехлах. Одним из последних спускается по ступенькам, цепляясь за все вокруг двумя чемоданами, молодой человек лет двадцати пяти, современного вида: борода без усов, модная прическа-канадка, очки в мощной оправе, обтягивающие джинсы, поролоновая курточка с многочисленными «молниями».

Поставив чемоданы на землю, он в некоторой растерянности озирается, но к нему сразу же подходит встречающий — тоже молодой человек, может быть, чуть постарше, атлетического сложения, смуглый, горбоносый, в очень обыкновенном летнем костюме при галстукке. Следуют рукопожатия, взаимные представления, деликатная борьба за право нести оба или хотя бы один чемодан.

Уже вечер. От низкого солнца тянутся по земле длинные тени. Молодые люди, оживленно беседуя, сворачивают с площади на неширокую, старинного облика улочку, где номера домов основательно проржавели, висят на воротах, мостовая заросла травой, а справа и слева тянутся могучие заборы, поставленные, наверное, еще в те времена, когда в этих местах шастали шведские и норвежские пираты. Называется эта улочка неожиданно изыщно: «Ул. Лукоморье».

— Вы уж простите, что так получилось, Саша, — говорит молодой человек в летнем костюме. — Но вам только эту ночь и придется здесь провести. А завтра прямо с утра...

— Да ничего, не страшно, — с некоторым унынием откликается приезжий Саша. — Перебьюсь как-нибудь. Клопов там нет?

— Что вы! Это же музей!...

Они останавливаются перед совсем уже феноменальными, как в паровозном депо, воротами на ржавых пудовых петлях. Пока молодой человек в летнем костюме возится с запором низенькой калитки, Саша читает вывески на воротах. На левой воротине строго блестящим толстым стеклом солидная синяя вывеска: «НИИЧАВО АН СССР. ИЗБА НА КУРИНЫХ НОГАХ. ПАМЯТНИК СОЛОВЕЦКОЙ СТАРИНЫ». На правой воротине висит ржавая жестяная табличка: «Ул. Лукоморье, д. № 13, Н. К. Горыныч», а под нею красуется кусок фанеры с надписью чернилами вкривь и вкось: «КОТ НЕ РАБОТАЕТ. Администрация».

— Это что у вас тут за КОТ? — спрашивает Саша. — Комитет оборонной техники?

Молодой человек в костюме смеется.

— Сами увидите, — говорит он. — У нас тут интересно. Прошу.

Они протискиваются в низенькую калитку и оказываются на обширном дворе, в глубине которого стоит дом из толстых бревен, а перед домом — приземистый необъятный дуб с густой кроной, совершенно застилающей крышу. От ворот к дому, огибая дуб, идет дорожка, выложенная каменными плитами, справа от дорожки огород, а слева, посередине лужайки, черный от древности и покрытый мхом колодезный сруб. На краю сруба восседает боком, свесив одну лапу и хвост, гигантский черно-серый разводами кот.

— Здравствуй, Василий, — вежливо произносит, обращаясь к нему, молодой человек в костюме. — Это Василий, Саша. Будьте знакомы.

Саша неловко кланяется коту. Кот вежливо-холодно разевает зубастую пасть, издает неопределенный сил-

190
лый звук, а потом отворачивается и смотрит в сторону дома.

— А вот и хозяйка, — продолжает молодой человек в костюме. — По здорову ли, баушка, Наина свет Киевна?

Хозяйке, наверное, за сто. Она неторопливо идет по дорожке к молодым людям, опираясь на суковатую клюку, волооча ноги в валенках с галошами. Лицо у нее темное, из сплошной массы морщин выдается вперед и вниз нос, кривой и острый, как ятаган, а глаза бледные и тусклые, словно бы закрытые бельмами.

— Здорова, здорова, внучек, Эдик Почкин, что мне делается? — произносит она неожиданно звучным басом. — Это, значит, и будет новый программист? Здравствуй, батюшка, добро пожаловать.

Саша снова кланяется. Вид у него ошарашенный, старуха слишком уж колоритна. Голова ее поверх черного пухового платка повязана веселенькой косынкой с изображением Атомiumsа и с разноязычными надписями «Брюссель». На подбородке и под носом торчит редкая седая щетина.

— Позвольте вам, Наина Киевна, представить... — начинает Эдик, но старуха тут же прерывает его.

— А не надо представлять, — басит она, пристально разглядывая Сашу. — Сама вижу. Привалов Александр Иванович, одна тысяча девятьсот сорок шестой, мужской, русский, член ВЛКСМ, нет, нет, не участвовал, не был, не имеет, а будет тебе, алмазный, дальняя дорога и интерес в казенном доме, а бояться тебе, брильянтовый, надо человека рыжего, недоброго, а позолоти ручку, яхонтовый...

— Гм! — смущенно произносит Эдик, и бабка сразу замолкает.

Воцаряется неловкое молчание, и вдруг кто-то негромко, но явственно хихикает. Саша оглядывается. Кот по-прежнему восседает на срубе и равнодушно смотрит в сторону.

— Можно звать просто Сашей, — выдает из себя новый программист.

— И где же я его положу? — осведомляется старуха.

— В запаснике, конечно, — говорит Эдик. — Пойдемте, Саша...

Они идут по дорожке к дому, старуха семенит рядом.

— А отвечать кто будет, ежели что? — вопрошает она.

— Ну ведь обо всем же договорились, — нетерпеливо поясняет Эдик. — Вам же звонили. Вам директор звонил?

— Звонить-то звонил, — бубнит бабка. — А ежели он что-нибудь стибрит?

— Наина Киевна! — с раскатами провинциального трагика восклицает Эдик и поспешно подталкивает Сашу на крыльцо. — Вы проходите, Саша, проходите, устраивайтесь...

Саша машинально вступает в прихожую. Света здесь мало, виден только белый телефон на стене и какая-то дверь. Саша толкает эту дверь, видит ручку на запорке и отшатывается, машинально сказавши: «Виноват». За спиной у него Эдик напряженным шепотом втолковывает старухе:

— Это наш новый заведующий вычислительным центром! Ученый!

— Ученый... — брюзжит бабка. — Я тоже учена! Всяких ученых видала...

— Наина Киевна!.. Саша, не туда, сюда, пожалуйста, направо...

Они входят в запасник. Это большая комната с одним окном, завешенным ситцевой занавесочкой. У окна — массивный стол и две дубовых скамьи, на бревенчатой стене — вешалка с какой-то рухлядью, ватники, облезшие шубы, драные кепки и ушанки; в углу большое мутное зеркало в облезлой раме, а у

стены справа — очень современный низкий диван, совершенно новенький.

— О, смотрите-ка! — восклицает Эдик. — Диван поставили! Это хорошо...

Он с размаху садится на диван, несколько раз подпрыгивает, и вдруг выражение удовольствия на его лице сменяется удивлением, а удивление — тревогой.

— Как это так? — бормочет он. — Позвольте...

Он ощупывает ладонями обивку, вскакивает, становясь на колено, запускает руку под диван и что-то там с натугой поворачивает. Раздается странный звук, словно затормозили пленку в магнитофоне. Эдик неторопливо поднимается, отряхивая руки. На лице у него озабоченность. И тут в комнату вваливается старуха со стопкой постельного белья.

— А ежели он тут у меня, скажем, молитесь начнет? — воинственно вопрошает она прямо с порога.

— Да нет, не начнет, — рассеянно говорит Эдик. — Он же неверующий. Слушайте, Наина Киевна, откуда здесь это? — Он показывает на диван. — Давно привезли?

— Опять же вот диван! — сейчас же подхватывает старуха. — Как завалился он на этот диван...

— Это не диван, — говорит Эдик. — Между прочим, Саша, вы действительно воздержитесь от этого дивана... Позвольте, — говорит он, озираясь. — Здесь же была раскладушка...

Ночь. В окно сквозь ветви дуба глядят огромная сплюснутая луна. Вдали лают собаки, из-за стены доносятся молодецкий храл. Затем где-то в доме бьют часы — полночь.

Саша, укрывшись простыней, лежит на раскладушке, листает толстую книгу, зеваает. На полу — раскрытый чемодан, в нем вперемешку с носками и галстуками книги. Когда часы начинают бить, Саша поднимает голову и считает удары, потом сует книгу под раскладушку, приподнимается и тянет руку к выключателю. Раскладушка угрожающе трещит. Саша гасит свет, энергично поворачивается на другой бок, и в то же мгновение раскладушка с лязгом разваливается.

Тишина. Потом храл за стеной возобновляется, Саша, чертыхаясь вполголоса, выбирается из простыни и пытается поднять раскладушку. В руках у него разрозненные детали. И снова, как давеча, слышится явственное хихиканье. Саша резко оборачивается и успевает заметить на фоне окна огромную кошачью голову — наставленные уши, торчащие усы и блеснувшие глаза. И снова в окне только луна да ветви дуба.

— Тьфу-тьфу-тьфу, — произносит Саша через левое плечо.

Он подбирает с пола тощий матрас, подушку, простыни и в нерешительности оглядывает комнату.

Диван.

Несколько секунд Саша еще медлит, а затем твердыми шагами направляется к дивану. Расстилает постель, несколько раз с силой нажимает на диван, словно пробуя его на прочность, и укладывается. Глаза его закрываются, на физиономии появляется блаженная улыбка. И в то же мгновение вновь возникает звук заторможенной магнитофонной пленки, переходящий в обстоятельное откашливание.

— Ну-с, так... — произносит хорошо поставленный мужской голос. — В некотором было царстве, в некотором государстве был-жил по имени... мнэ-э-э... Ну, в конце концов, неважно. Скажем, мнэ-э-э... Полуэкт...

Саша некоторое время слушает с открытыми глазами, потом осторожно встает, пригнувшись, подкрадывается к окну и выглядывает. Спinoй к дубу, ярко освещенный луной, стоит на задних лапах кот Василий. В зубах у него зажат цветок кувшинки.

— Мнэ-э-э... — тянет он, задумчиво подняв глаза к небу. — У него было три сына-царевича. Первый... мнэ... Третий был дурак, а вот первый? — кот трясет

головой, потом закладывает передние лапы за спину и, слегка сутулясь, плавным шагом направляется прочь от дуба.

— Хорошо, — цедит он сквозь зубы. — Бывали-жи-вали царь да царица. У царя, у царицы был один сын... Мнэ-э... Дурак, естественно...

Кот с досадой выплевывает цветок и, топорща усы, потирает лоб когтистой лапой.

— Пр-проклятый склероз, — говорит он. — Но ведь кое-что помню! «Ха-ха-ха! Будет чем полакомиться: конь — на обед, молодец — на ужин...» А дальше? — Кот делает фехтовальные движения. — Три головы долой, Иван вынимает три сердца и... и... — Плечи его понижаются. Он глубоко вздыхает и поворачивает обратно к дубу. В лапах у него вдруг оказываются массивные гусли.

— Кря-кря, мои деточки, — поет он, пощипывая струны. — Кря-кря, голубяточки! Я... мнэ-э-э... Я слезой вас отпаивала.. Вернее, выпаивала... Некоторое время он марширует молча, стуча по струнам, потом немзыкально кричит: — Сладок кус недоедала! — Прислоняет гусли к дубу и чешет задней лапой за ухом. — Труд, труд и труд! — провозглашает он. — Только труд! — Он снова закладывает лапы за спину и идет в сторону от дуба, бормоча: — Дошло до меня, о великий царь, что в славном городе Багдаде жил-был портной по имени... — Тут он встает на четвереньки, выгибает спину и злобно шипит, стуча себя лапой по лбу. — Вот с этими именами у меня особенно отвлительно! Абу... Али... Н-ну, хорошо, скажем, Полуэкт...

Голос его прерывается протяжным пронзительным скрипом и отдаленным рокошущим «ко-о, ко-о, ко-о...» Изба едрог начинает раскачиваться, как лодка на волнах, двор за окном сдвигается в сторону, а из-под окна вылезает и вонзается когтями в землю исполинская куриная нога — проводит в траве глубокие борозды и снова скрывается. «Ко-о, ко-о, ко-о» переходит в звук тормозящей магнитофонной пленки и затем в пронзительный телефонный звонок.

Саша сидит на полу рядом с диваном, запутавшись в простыне, и очумело вертит головой. Телефон в прихожей звенит беспрерывно.

Саша, наконец, вскакивает, выбегает в прихожую и хватает трубку.

— Алло! — хриплым со сна голосом говорит он.

— Такси вызывали? — гнусаво осведомляется трубка.

— Какое такси?

— Это два-семнадцать-шестнадцать?

— Н-не знаю...

— Такси вызывали?

— Не... Не знаю... Откуда мне знать?

В телефоне гудки отбоя. Саша вешает трубку, некоторое время с сомнением смотрит на телефон, потом возвращается в комнату и... остолбеневаает на пороге.

Диван исчез.

На полу, там где стоял диван, валяется постель. И больше ничего.

Саша оторопело смотрит, потом осторожно подходит, нагибается и ощупывает, похлопывая ладонью, то место, где стоял диван.

— По-моему, я на нем спал, — говорит он вслух. — Даже приснилось что-то...

Он подходит к окну, раздвигает занавески и выглядывает. Двор залит лунным светом и пуст. Тишина, храл за стеной, в отдалении лают собаки. Саша стоит у окна, растерянно теребя бороду.

Резкий стук в наружную дверь заставляет его обернуться. Он снова выходит в прихожую, отодвигает засов.

На крыльце перед ним стоит невысокий изящный человек в светлом коротком плаще и в огромном черном берете. Узкое длинное лицо, усы стрелками, выпуклые пристальные глаза.

— Прошу прощения, Александр Иванович, — с до-

стоинством произносит он, коснувшись берета двумя пальцами.— Я отниму у вас не больше двух минут.

— Да-да... прошу...— растерянно говорит Саша, пропуская незнакомца в прихожую.

Незнакомец делает движение пройти в комнату, но Саша поспешно заступает ему дорогу.

— Извините,— лепечет он.— Может быть, здесь... А то у меня там, знаете, беспорядок... даже сесть толком негде...

— Как — негде? — Незнакомец резко поднимает брови.— А диван?

Некоторое время они молча смотрят друг другу в глаза.

— М-м-м... Что — диван? — шепотом спрашивает Саша.

Незнакомец все смотрит на него, то высоко задирая, то низко опуская брови.

— Ах вот как...— медленно произносит он наконец.— Понимаю. Жаль. Что ж, еще раз прошу прощения.

Он снова прикладывает два пальца к берету и решительно направляется прямо к дверям уборной.

— Куда вы? — бормочет Саша.— Вам не туда... Вам...

— Ах, это безразлично,— говорит незнакомец, не оборачиваясь, и скрывается за дверь.

Саша машинально зажигает ему свет. Стоит несколько секунд с обалделым видом, потом резко распахивает дверь. В уборной никого нет. Мерно покачивается фаянсовая ручка.

Саша, пятясь задом, возвращается в свою комнату. — Стаканá нет? — раздается за его спиной хриплый голос.

Саша оборачивается.

Верхом на скамье под зеркалом сидит какой-то тип в кепке, сдвинутой на правый глаз. Щетина. К нижней губе прилип окурочок.

— Стаканá, говорю, нет? — повторяет тип.

Саша молча трясет головой.

— Значит, с горла́ будем,— оживает тип.— Ну, давай.

Саша подходит к нему и останавливается, выпятив челюсть.

— А собственно, кто вы такой? — спрашивает он.— Что вам здесь надо?

Тип обращает взор на то место, где раньше стоял диван.

— Чего мне здесь надо, того уже здесь нету,— произносит он с сожалением.— Опоздал, понял? Надо понимать, Витек перехватил. Так шефу и доложим.— Он снова обращает глаза на Сашу.— Этого, значит, не удержишь,— говорит он, шелкая себя по шее.— И красного тоже нет? Жаль. Обидел ты меня, друг.— Он глубоко запускает руку в зеркало и, оживившись, извлекает оттуда водочную бутылку. Встряхивает ее, смотрит на свет. Бутылка пуста.— А кто это там приходил? — спрашивает он, ставя бутылку на стол.

— Не знаю,— отвечает Саша, следя за его действиями, как зачарованный.— В берете какой-то...

Тип понимающе кивает.

— Крестобаль Хозевич, значит.— Он снова запускает руку в зеркало.— Тоже, значит, опоздал. Во Витек дадут...— Он сосредоточенно шарит в «зазеркалье» и бормочет.— Всех сделал. Шефа моего сделал, Крестобалья Хозевича — и того сделал...— Лицо его вновь озаряется, и на свет появляется еще одна бутылка, опять пустая. Тип ставит ее рядом с первой и несколько секунд любуется ими.— Это же надо — сколько старуха пьет! Как ни придешь, меньше чем две бутылки не бывает... А одеколону у тебя тоже нет? — спрашивает он без всякой надежды, вытягивая из кармана авоську.

— Нет,— говорит Саша, наблюдая, как тип деловито укладывает бутылки в авоську.— А что здесь вообще происходит? Где диван! Куда это я вообще попал? На чем я теперь спать буду, черт подери?

Тип вдруг вскакивает, сдергивает с головы кепочку и прячет руку с авоськой за спину. Лицо его принимает испуганно-почтительное выражение.

Саша оглядывается. У дверей, куда смотрит тип, никого нет.

— Пардон,— повторяет тип, пятясь.— Айн минут, мерси, гуд бай.

Спина его упирается в зеркало, но он продолжает пятиться и вдруг проваливается в «зазеркалье», мелькнув в воздухе стоптанными сандалиями.

Саша медленно подходит к зеркалу, осторожно заглядывает в него. Отшатывается: своего отражения он в зеркале не видит. Видит стол, дверь, постель на полу — все, что угодно, кроме себя. Он осторожно тянет руку к тусклой поверхности, упирается в твердое, и отражение сейчас же возникает. Мотнув головой, Саша изнеможенно опускается на скамью и сейчас же с криком вскакивает, держась рукой за труссы.

На скамье лежит, покачиваясь, блестящий цилиндрик величиной с указательный палец.

Саша берет его и принимается оглядывать со всех сторон. Цилиндрик тихо потрескивает. Саша стучит по нему ногтем, и из цилиндрика вылетает сноп искр, комната наполняется невнятным шумом, слышны какие-то разговоры, музыка, смех, кашель, шарканье ног, смутная тень на мгновение заслоняет свет лампы, громко скрипят половицы, а по столу пробегает огромная белая крыса. И все снова стихает.

Саша, закусив губы, осторожно поворачивает цилиндрик, чтобы посмотреть на него с торца, и в то же мгновение комната перед его глазами стремительно поворачивается, тьма, грохот, летят искры, и Саша вдруг оказывается сидящим в очень неудобной позе в противоположном углу комнаты под вешалкой. Вешалка, секунду помедлив, с шумом обрушивается на него.

Раскачивается лампочка на длинном шнуре, на потолке явственно темнеют следы босых ног. Саша, заваленный тряпьем, смотрит сначала на эти следы, потом на свои голые пятки. Пятки вымазаны мелом. Саша рассеянно отряхивает их, глядя на цилиндрик. Цилиндрик стоит посреди комнаты, касаясь пола краем торца, в положении, исключающем всякую возможность равновесия. Он раскачивается и тихо потрескивает.

Тогда Саша выбирается из-под тряпья, выбирает наугад какую-то ушанку и осторожно накрывает ею цилиндрик. Руки у него трясутся.

— В-вот это в-вы и-напрасно,— раздается голос.

— Что — напрасно? — раздраженно спрашивает Саша, не оборачиваясь.

— Я г-говорю про умклайдет. Вы и-напрасно накрывали его шапкой.

— А что мне еще с ним делать? — спрашивает Саша и, наконец, оборачивается. В комнате никого нет.

— Это ведь, к-как говорится, в-волшебная палочка,— поясняет голос.— Она т-требует чрезвычайно осторожного об-бращения.

— Поэтому я и накрыл,— говорит Саша.— Да вы заходите, товарищ, а то так очень неудобно разговаривать.

— Б-благодарю вас.

Около дверей, как раз там, куда глядел тип в кепочке, неторопливо конденсируется из воздуха величественный человек преклонных лет в роскошном бухарском халате и комнатных туфлях. Он огромного роста, благодарное чрево распирает шнур с кистями, великолепные седины, саваофова бородаща волной, огромные ладони привычно засунуты за шнур. Голос у него рокочущий, глубокий, он заметно заикается. Светлые глаза смотрят приветливо и благожелательно.

— Вы знаете, дружок, я, наверное, должен извиниться,— говорит он.— Я тут у вас уже полчаса торчу, надеялся — обойдется как-нибудь... Этот диван, черт

1921
«Аэлита»-90

его подери, так я и знал, что вокруг него начнется скандал. Халат накинул — и сюда...

— Насчет дивана вы опоздали, — с раздражением говорит Саша. — Украли его уже.

Человек в халате величественно отмахивается.

— Да он мне и ни к чему. Я, знаете ли, опасался, что они здесь все передерутся и в суматохе вас, так сказать, затопчут... Уж очень, знаете ли, страсти накалились. Вот видите, Корнеев умклайдет здесь потерял... волшебную свою палочку... а это, дружок, не шутка...

Оба одновременно поднимают глаза и смотрят на отпечатки на потолке.

— Курс управления умклайдетом занимает, знаете ли, восемь семестров, — продолжает гость, — и требует основательного знания квантовой алхимии. Вот вы, дружок, прогруппист, умклайдет электронного уровня вы бы освоили без особого труда, но квантовый умклайдет... гиперполя... трансгрессивные воплощения... обобщенный закон Ломоносова-Лавуазье... — Он сочувственно разводит руки.

— Да о чем речи! — восклицает Саша. — Я и не претендую! — Он спохватывается. — Может, вы присядете?

— Благодарю вас, мне так удобнее... Но вся эта премудрость в ваших руках. Поработаете у нас год-другой... — Он прерывает самого себя. — Вы знаете, Александр Иванович, я бы все-таки просил вашего разрешения убрать эту шапку. Мех, знаете ли, практически непрозрачен для гиперполя...

Саша поднимает руку.

— Ради бога! Все, что вам угодно. Убирайте шапку, убирайте даже этот самый... кум... ум... эту самую волшебную палочку! — Он останавливается.

Шапки нет. Цилиндрик стоит в луже жидкости, похожей на ртуть. Жидкость быстро испаряется.

— Так будет лучше, уверяю вас, — объявляет незнакомец в халате. — А то, знаете ли, могло так бабахнуть... А вот забрать умклайдет я не могу. Не мой. Условности, черт бы их подрал. И вы его лучше больше не трогайте. Бог с ним, пусть так стоит.

Саша в полной готовности отчаянно машет руками.

— Да, я ведь еще не представился, — продолжает незнакомец. — Киврин Федор Симеонович. Заведу у нас отделом Линейного счастья.

Саша застывает в почтительном изумлении.

— Федор Симеонович? — бормочет он в восхищении и растерянности. — Ну, еще бы!.. Я вот только позавчера вашу статью... В «Успехах физических наук»... Ну, знаете, эту... о квантовых основах психологии...

— Знаю, знаю, — благодушно говорит Федор Симеонович. — И как вам эта статейка?

Саша не в силах говорить и всем своим видом демонстрирует крайнюю степень почтительного восторга.

— Да... гм... Пожалуй, — басит Федор Симеонович не без некоторого самодовольства. — Недурственная получилась работка. У нас, знаете ли, в институте, Александр Иванович, очень неплохо можно работать. Отличный коллектив подобрался, должен вам сказать. За немногими исключениями. Вот, скажем, даже Хома Брут... вот этот, в кепочке, с бутылками... Ведь на самом деле механик, золотые руки, потомственный добрый колдун... Правда, привержен... — Федор Симеонович шелкает себя по бороде. — Дурное влияние, черт бы его подрал... Ну, это вы все узнаете. Мы вас тут с распростертыми объятьями... А то ведь чепуха получается. Машину поставили наисовременнейшую, «Алдан-12», а наладить никак не можем, кадров нет. В институте у нас в основном уклон, знаете ли, гуманитарно-физический. Чародейство и волшебство главным образом, а новые методы требуют математики! Я вот все линейным счастьем занимаюсь, а с вашей машиной, глядишь, и за нелинейное возьмемся...

Саша чешет затылок.



— Я, знаете, насчет чародейства и волшебства не очень... Был у нас спецкурс, но я тогда болел, что ли... Вообще я это как-то в переносном смысле понимал... как иносказание...

Федор Симеонович добродушно хохочет.

— Ничего, разберетесь, разберетесь. Любой ученый, знаете ли, в известном смысле маг и волшебник, так что у нас и в переносном смысле бывает, и в прямом. Вы — молодец, что приехали. Вам у нас понравится. Вы, я вижу, человек деловой, энергичный, работать любите...

Саша стесняется.

— Да, конечно... — говорит он. — Но сейчас что об этом? Там видно будет... — Он озирается, ища, как бы переменить тему разговора. — Вот диван пропал, — говорит он. — Вы мне не скажете, Федор Симеонович, что все это означает? Диван... суета какая-то...

— Ну, видите ли, это не совсем диван, — говорит Федор Симеонович. — Я бы сказал, это совсем не диван... Однако ведь спать пора, Александр Иванович. Заговорил я здесь вас, а ведь вам спать хочется...

— Ну что вы! — восклицает Саша. — Наоборот! У меня к вам еще тысяча вопросов!

— Нет, нет, дружок. Вы же устали, утомлены с дороги...

— Нисколько!

— Александр Иванович — внушительно произносит Киврин. — Но ведь вы действительно утомлены! И вы действительно хотите отдохнуть.

И тут глаза у Саши начинают слипаться. Он согласно кивает головой, вяло бормочет: «Да, действительно, вы уж меня простите, Федор Симеонович...», кое-как добирается до неведомо откуда появившейся застеленной раскладушки, ложится, подкладывает ладонь под щеку и, блаженно улыбаясь, засыпает.

Федор Симеонович, оглаживая бороду, некоторое время ласково смотрит на него, потом достает из воздуха большое яблоко, кладет рядом с Сашей и исчезает.

Становится темно и тихо.

Сильный грохот. Саша открывает глаза и поднимает голову.

Комната полна утренним солнцем.

Дивана по-прежнему нет, а посередине комнаты сидит на корточках здоровенный детина лет двадцати пяти, в тренировочных брюках и пестрой гавайке на выпуск. Он сидит над волшебной палочкой, плавно помахивая над нею огромными костистыми лапами.

— В чем дело? — спрашивает Саша хриплым со сна голосом.

Детина мельком взглядывает на него и снова отворачивается. У него широкое курносое лицо, могучая челюсть, низкий лоб под волосами ежиком.

— Не слышу ответа! — зло говорит Саша, приподнимаясь.

— Тихо, ты, смертный, — откликается детина.

Он прекращает свои пассы, берет умклайдет и выпрямляется во весь рост. Рост у него — под лампочку. И весь он кражистый, широкий, узловатый.

— Эй, друг! — говорит Саша. — А ну-ка, положи эту штуку на место и очисти помещение!

Детина молча смотрит на него, выпячивая челюсть. Тогда Саша откидывает простыни и делает движение, чтобы вскочить. Раскладушка от толчка разваливается, и Саша опять оказывается на полу.

Детина гогочет.

— А ну, положи умклайдет! — рывкает Саша, поднимаясь.

— Чего ты орешь, как больной слон? — осведомляется детина. — Твой он, что ли?

— А может, твой?

— Ну мой!

Сашу осеняет.

— Ах ты, скотина! — говорит он. — Так это ты диван спер?

— Не суйся, братец, не в свои дела, — предлагает детина, запихивая умклайдет в задний карман брюк. — Целее будешь.

— А ну, верни диван! Мне отвечать за него, понял?

— А пошел ты к черту, — говорит детина, озираясь

Саша, подскочив, хватает детину за гавайку. Детина сейчас же хватается Сашу за майку на груди. Видно, что оба не дураки подраться.

Но тут дверь распахивается, и на пороге появляется грузный рослый мужчина в лоснящемся костюме. Лицо у него надутое, бульдожье, движения властные, хозяйские, уверенные, под мышкой — папка на «молнии».

— Корнеев! — говорит он прямо с порога. — Где диван?

Детина и Саша сразу отпускают друг друга.

— Какой еще диван? — вызывающе осведомляется детина.

— Вы мне это прекратите, Корнеев! — объявляет мужчина с папкой. — Сами знаете, какой диван.

Он проходит в комнату, а за ним входят: Эдик Почкин, очень серьезный и сосредоточенный; плешивый, странного вида человек в золотом пенсне и смазных сапогах; Хома Брут в своей кепочке, сдвинутой на правый глаз. Саша кидается одеваться. Пока он одевается, в комнате развивается скандалчик.

— Не знаю я никакого дивана, — заявляет Корнеев.

— Я вам объяснял, Модест Матвеевич, — говорит Эдик человеку с папкой. — Это не есть диван. Это есть прибор...

— Для меня это диван, — прерывает его Модест Матвеевич, достает записную книжку и заглядывает в нее. — Диван мягкий полоторный, инвентарный номер одиннадцать-двадцать три. Диван должен стоять. Если его будут все время таскать, то считайте: обшивка порвана, пружины поломаны.

— Там нет никаких пружин, — терпеливо объясняет Эдик. — Это прибор. С ним работают.

— Этого я не знаю, — заявляет Модест Матвеевич, пряча папку. — Я не знаю, что это у вас за работа с диваном. У меня вот дома тоже есть диван, и я знаю, как на нем работают.

— Мы это тоже знаем, как вы работаете, — угрюмо говорит Корнеев.

— Вы это прекратите, — немедленно требует Модест Матвеевич, поворачиваясь к нему. — Вы здесь не в пивной, вы здесь в учреждении.

— Терминологические споры, товарищи, — восклицает вдруг высоким голосом плешивый, — могут завести нас только в метафизический тупик! Терминологические споры мы должны, товарищи, решительно отместить, как несоответствующие и уводящие. А нам, товарищи, требуются какие споры? Нам, товарищи, требуются споры, с одной стороны, соответствующие, а с другой — наводящие. Нам требуются принципиальные споры, товарищи!

— Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалло! — решительно прерывает его Модест Матвеевич. — Нам тут не требуется никаких споров. Нам тут требуется диван, и немедленно.

— Правильно! — подхватывает профессор Выбегалло. — Мы решительно отмечаем все и всяческие споры, и мы требуем, общественность требует, наука требует, товарищ Корнеев, чтобы диван был немедленно ей возвращен. В распоряжение моего отдела.

Все четверо начинают говорить разом.

ЭДИК: Модест Матвеевич, это не диван! Это транслятор универсальных превращений! Ему не в музей место, его здесь вы по ошибке поместили, мы на него заявку еще два года назад написали!..

КОРНЕЕВ (Выбегалле): Ну да, конечно, в ваш отдел! Чтоб вы на нем спали после обеда и кроссворды решали! Вы ж с ним обращаетесь не умеете, опять все на Брута свалите вашего, а он его пропьет по частям!..

МОДЕСТ МАТВЕЕВИЧ: Вы мне это прекратите, това-

рищи! Диван есть диван, и кто на нем будет спать, или там работать, это решает администрация! Я лишнюю графу в отчетности из-за ваших капризов вводить не намерен! Мы еще назначим комиссию и посмотрим, может быть, вы его повредили, пока таскали, товарищ Корнеев!..

ВЫБЕГАЛЛО: Я ваши происки, товарищ Корнеев, отметаю решительно, раскаленной метлой! Я такую форму научной дискуссии не приемлю! Принципиальности у нас не хватает, товарищ Корнеев! Чувства ответственности! Нет у вас гордости за свой институт, за нашу науку!..

Пока продолжается этот гомон, Саша оделся и, широко раскрыв глаза и приоткрыв рот, слушает, застегивая верхнюю пуговицу на рубашке.

Хома Брут тоже не вмешивается. Он прислонился к притолке, достал из-за уха сигарету, раскурил ее от указательного пальца и через дымок подмигивает Саше, ухмыляется и кивает в сторону спорящих, как бы говоря: «Во дадут!»

Тут Модест Матвеевич замечает развалившуюся раскладушку. Все замолкают. В наступившей тишине Модест Матвеевич озирает по очереди всех присутствующих. Взгляд его останавливается на Саше. Саша, не дожидаясь вопросов, виновато произносит:

— Она сама развалилась.. Я встал, а она — раз!..

— Почему вы здесь спите? — грозно осведомляется Модест Матвеевич.

— Это наш новый заведующий вычислительным центром, — вступается Эдик. — Привалов Александр Иванович.

— Почему вы здесь спите, Привалов? — вопрошает Модест Матвеевич. — Почему не в общежитии?

— Ему комнату не успели отремонтировать, — спешно говорит Эдик.

— Неубедительно.

— Что ж ему — на улице спать? — злобно спрашивает Корнеев.

— Вы это прекратите! — говорит Модест Матвеевич. — Есть общежитие, есть гостиница, а здесь музей. Госучреждение. Если все будут спать в музеях... Вы откуда, Привалов?

— Из Ленинграда, — мрачно отвечает Саша.

— Вот если я приеду к вам в Ленинград и пойду спать в Эрмитаж?

Саша пожимает плечами:

— Пожалуйста!

Эдик обнимает Сашу за талию.

— Модест Матвеевич, это не повторится. Сегодня он будет спать в общежитии. А что касается раскладушки... — Он щелкает пальцами. Раскладушка тут же самовосстанавливается.

— Вот это другое дело, — великодушно говорит Модест Матвеевич. — Вот всегда бы так и действовали, Почкин. Ограду бы починили... Лифт у нас не кондиционный...

Корнеев берется руками за голову и стонет сквозь стиснутые зубы.

— По-моему, эти стоны со стороны товарища Корнеева являются выпадом, — визгливо и мстительно вмешивается Выбегалло.

Модест Матвеевич поворачивается к Корнееву.

— Я еще раз повторяю, Корнеев, — строго говорит он. — Немедленно верните диван.

Корнеев приходит в неописуемую ярость. Лицо его темнеет, и сейчас же заметно темнеет в комнате. Огромная туча наползает на солнце. Свиристый порыв ветра сотрясает дуб. Где-то звенят вылетевшие стекла. У стола подгибаются ножки, проседает только что восстановленная раскладушка. В тусклом зеркале вспыхивают и гаснут зловещие огни.

Выбегалло отшатывается, испуганно заслоняясь от Корнеева ладонью. Хома Брут стремительно уменьшается до размеров таракана и прячется в щель. Эдик встревоженно и предостерегающе протягивает к Кор-

191) неву руку, шепча одними губами: «Витя, Витя, успокойся...»

И только Модест Матвеевич остается неколебим. Он с достоинством перекладывает папку под другую мышку и веско произносит:

— Неубедительно, Корнеев. Вы это прекратите.

И все прекращается. Корнеев в полном отчаянии машет рукой, в воздухе конденсируется диван и плавно опускается на свое прежнее место.

Модест Матвеевич неторопливо подходит к нему, ощупывает, заглядывает в книжку и проверяет инвентарный номер. Затем объявляет:

— Товарищ Горыныч!

— Иду, батюшка, иду! — доносится из прихожей испуганный голос.

Модест Матвеевич удаляется в прихожую, и тут Выбегалло приходит в себя и устремляется за ним с криком:

— Модест Матвеевич! Вы забываете, что у меня эксперимент международного звучания! Я без этого дивана как без рук! Модель идеального человека тоже без этого дивана как без рук!..

Дверь за ним захлопывается. Из щели выползает Хома Брут и снова начинает увеличиваться в размерах. Еще не достигнув нормального роста, он осведомляется:

— Политурки, значит, тоже нет? Или хотя бы антифриза...

— Бр-р-рысь, пр-р-ропойца! — рычит Корнеев, и объятый ужасом Хома Брут, снова уменьшившись, ныряет в щель под дверь.

Корнеев садится на диван и, наклонив голову, вцепляется себе в волосы когтистыми пальцами.

— Дубы! — говорит он с отчаянием. — Пни стоеросовые! К черту их всех! Сегодня же ночью опять уволоку!

— Ну, Витя, — укоризненно говорит Эдик. — Ну что ты, право... Будет ученый совет, выступит Федор Симеонович, выступит Хунта...

— Хунте самому диван нужен, — глухо возражает Корнеев, терзая себя за волосы.

— Ну, знаешь! С Кристобалем Хозевичем всегда можно договориться. Это тебе не Выбегалло...

При последних словах Корнеев вдруг вскакивает, щелкает пальцами, и перед ним возникает из ничего плешивый профессор Выбегалло, вернее, фигура, чрезвычайно на Выбегаллу похожая, но с большими белыми буквами поперек груди: «Выбегалло 92/К». Корнеев со сдавленным рычанием хватается за бородавку и яростно трясет в разные стороны. Фигура туло ухмыляется.

— Витя, опомнись! — укоризненно говорит Эдик.

Корнеев с размаху бьет фигуру кулаком под ребра, отшибает кулак и, размахивая ушибленной рукой, принимается скакать по комнате.

— Тьфу на тебя! — орет он фигуре.

Фигура послушно исчезает, а Корнеев, дуя на кулак, отходит к окну и скорбно прислоняется к оконнице.

Эдик, глядя ему в спину, качает головой.

— Слушайте, Эдик, — тихонько говорит Саша. — В чем все-таки дело? Почему из-за паршивого дивана такой шум? Он же жесткий!..

— Это не диван, — отвечает Эдик. — Это такой преобразователь. Он, например, может превращать реальные вещи в сказочные. Вот, например... Ну, что бы... — Эдик озирается, берет с вешалки драный трехух, бросает его на диван, а сам запускает руку в спинку и что-то там проворачивает со звуком заторможенной магнитофонной пленки. — Вот видите, была обыкновенная шапка. А теперь смотрите...

Он берет шапку и нахлобучивает себе на голову.

И сейчас же исчезает.

— Шапка-невидимка, понимаете? — раздается его голос.

Он снова появляется и вешает шапку на место. — А ты на нем, балда, спать расположился, — подает от окна голос Корнеев. — Скажи еще спасибо, что я его из-под тебя уволок, а то проснулся бы ты, сердяга, каким-нибудь мальчишкой-с-пальчиком в сапогах... Возись потом с тобой.

— Да, это моя вина, — сказал Эдик. — Надо мне было вам все это растолковать как следует...

Корнеев, словно что-то вспомнив, вдруг возвращается к ним.

— Так ты, значит, у нас заведующим вычислительным центром будешь? — говорит он, оглядывая оценивающе Сашу с головы до ног.

— Да, — отвечает Саша небрежно. — Попытаюсь.

— Ты машину-то знаешь нашу? «Алдан-12»...

— Приходилось, — говорит Саша.

— Так какого же дьявола она у тебя не работает? — произносит Корнеев, агрессивно глядя на Сашу. — Что ты тут тары-бары растабарываешь, когда мне машина вот так нужна? Если они мне, зануды, диван не дают, так я, может, хоть модель математическую рассчитают, и тогда плевал я на этот диван... Ну, что ты стоишь? Что ты здесь стоишь?

— Подожди, — говорит Саша, несколько ошеломленный. — А чего тебе надо, какая модель?

Корнеев делает движение, как будто собирается бежать за чем-то, затем передумывает, выхватывает из воздуха стопку бумаги, авторучку, бросает все на стол и с ходу принимается писать, приговаривая:

— Смотри сюда. Линейное уравнение Киврина, понял? Граничные условия такие... Нет, здесь в квадрате, так?

Саша тоже сгибается над столом. Эдик глядит Корнееву через плечо.

— Оператор Гамильтона... — продолжает Корнеев. — Теперь все это трансгрессируем по произвольному объему. По произвольному, понял? Здесь тогда получается ноль, а здесь произвольная функция. Теперь берем тензор воспитания... Ну, чего ты смотришь, как баран? Не понимаешь? Ну, как он у вас называется?..

Голос его заглушает конкретная музыка, а над столом взлетают фонтаны цифр и математических символов. Саша тоже приходит в азарт, стучит пальцем по написанному, выхватывает у Корнеева ручку и пишет сам.

Появляется кот Василий, обходит вокруг стола, заложив лапы за спину, пожимает плечами и скрывается.

Эдик некоторое время слушает, потом достает из нагрудного кармана умклайдет, поднимает его над головой и резко взмахивает им, словно встряхивает термометр.

Вспышка, тьма, и все трое уже стоят перед трехэтажным, современного вида зданием из стекла и бетона, но без дверей. Есть бетонный козырек над подъездом, есть несколько широких ступенек, но ступени эти ведут в глухой простенок между гигантскими черными окнами. Возле правого окна над громадной плательницей в виде жабы с отверстой пастью висит строгая вывеска: «Научно-Исследовательский Институт ЧАродейства и ВОлшебства».

Корнеев и Саша все продолжают спорить, Саша только на мгновение замолкает, озабоченно оглядываясь по сторонам, и тотчас рядом с ними возникают его чемоданы. Он снова бросается в спор.

Эдик берет чемоданы, поднимается по ступенькам и пихает в простенок ногой. Появляется стеклянная дверь. Смутно видимый сквозь стекло устрашающего вида вахтер-ифрит, в огромном торбане и с кривым мечом на плече, распахивает перед ними двери.

И полетели дни и ночи, заполненные работой.

Саша за пультом «Алдана-12» сосредоточенно следит за вспыхивающими и гаснущими рядами цифр на

1961
контрольном табло, нажимает кнопки; бешено мотается за стеклом магнитная лента, стрекочет печатающее устройство. Саша рассматривает табулограмму, отрывает кусок рулона, проглядывает ряд цифр, с досадой мнет бумагу, отшвыривает ее в сторону и снова возвращается к пульту. Над пультом возникает полупрозрачное лицо Федора Симеоновича. Великий маг сочувственно наблюдает за Сашей, затем кладет тихонько ему под руку банан и исчезает. Саша, не прекращая работы, рассеянно берет банан и ест.

Комната в общежитии. За окном дождь, мечутся тени голых ветвей. Саша, обхватив голову руками, читает толстенный том, потом берет его двумя руками, ставит на стол ребром и опирается на него подбородком. Глаза у него пустые и обращенные внутрь. Название книги: «Уравнения математической магии».

Лаборатория Корнеева. Саша и Виктор сидят за столом, уставленным разнообразной электроникой. Перед ними беспорядочные груды исчерченной и исписанной бумаги, и весь пол вокруг стола усыпан ею. Ребята продолжают чертить и писать и исписанные листки бросают на пол. Входит фигура, как две капли воды похожая на Корнеева, с тупым выражением на физиономии и с белыми буквами на груди: «Корнеев 186/К». Фигура ставит на стол две бутылки кефира и исчезает. Корнеев пытается что-то втолковать Саше, показывает пальцами, но Саша не понимает. Тогда Корнеев хватается за бутылку, подбрасывает ее в воздух, она повисает над столом, а он снова принимается показывать руками, и, следуя его движениям, бутылка начинает изгибаться, пересекая самое себя, расплющивается, и в разных точках образовавшейся абстрактной модели вспыхивают латинские буквы А, В, С и т. д. Саша радостно тычет пальцем в одну из точек, хлопает себя по лбу и снова принимается писать.

Снова перед пультом машины. Крестобаль Хозевич Хунта напяливает на голову никелированный колпак, из которого выходит пучок проводов, соединенных с печатающим устройством. Саша смотрит на этот колпак с сомнением, качает головой и принимается нажимать кнопки и клавиши. На табло вспыхивают и гаснут цифры, из печатающего устройства ползет лента. На ленте текст: «ПЕРВЫЙ ОТВЕТ: ДА, ВОЗМОЖНО. ВТОРОЙ ОТВЕТ: НЕТ. ТРЕТИЙ ОТВЕТ: НЕ ЗАСОРЯЙТЕ МНЕ ПАМЯТЬ. ЧЕТВЕРТЫЙ ОТВЕТ: ПРИ УСЛОВИИ, ЕСЛИ ХР ХР ХР ХР...» Саша поспешно нажимает кнопку, лента останавливается. Хунта недовольно поворачивается к Саше. Саша разевает рот: у Хунты вместо глаз окошечки, как на табло, и в них, как на табло, вспыхивают и гаснут неоновые четверки, семерки и прочие нули.

Улица перед институтом, осень, ветер несет голые желтые листья, по лужам бежит рябь.

Саша отрывает табулограмму и, рассматривая ее на ходу, бежит по коридору. Врывается в лабораторию Федора Симеоновича, вручает ему табулограмму. Федор Симеонович поворачивается к стенду, где под стеклянным колпаком — обугленные останки сгоревшей книги. Великий маг, глядя в строчки цифр, принимается набирать код на клавишном устройстве, нажимает на кнопку «Пуск», и обугленная книга начинает дымиться, вспыхивает ярким пламенем, из которого появляется та же книга, но целая и невредимая. Федор Симеонович хлопает в ладоши, потирает руки, Саша тоже хлопает в ладоши и потирает руки.



Саша у себя в кабинете просматривает заказы и распределяет машинное время. Перед его столом очередь человек в пять — все знакомые лица, только тупые и какие-то окаменевшие, у каждого на груди надпись: «Выбегалло 11», «Хунта 1244», «Киврин 67», «Корнеев 421»... В хвосте стоит обыкновенный живой человек с толстым портфелем, бледный и напуганный. Саша кончает просматривать листок с заданием и возвращает его «Выбегалле 11».

— Я тысячу раз просил на машинке печатать, — строго говорит он. — Почерк же, как курица лапой. Перепечатать!

Тут он замечает человека с портфелем.

— А! — говорит он. — Проходите, проходите, присаживайтесь, пожалуйста... Вы ведь с рыбозавода? Мне звонили... Да идите же сюда!

Человек с портфелем, виновато кивая и озираясь, приближается к столу и присаживается на краешек стула.

— Неудобно как-то, — бормочет он, опасливо косясь на очередь. — Вот ведь товарищи ждут, раньше меня пришли...

— Ничего, ничего, это не товарищи... — Саша протягивает руку за пачкой бумаг, которую человек достал из портфеля.

— Ну, граждане...

— И не граждане... — Саша начинает просматривать бумаги. — Это называется дубль, — объясняет он, не поднимая глаз. — Времени сотрудникам не хватает, в очереди им стоять некогда, вот они и посылают свои копии... Кого сюда, кого за получкой... кого в магазин... кого на свидание... Я что-то тут не понимаю, к какому же вам числу это нужно? А, понятно...

Человек с портфелем опасливо оглядывается на очередь.

— Дубли... То-то же я смотрю — не мигают они... а вот этот, с бородой, он, по-моему, и не дышит даже...

Общешитие. Эдик учит Сашу проходить сквозь стены. Сначала проходит сам, возвращается, что-то втолковывает Саше, показывает, что надо выгибать грудь и тянуть носки. Саша закрывает глаза, шагает в стену и отшибает лоб. Эдик снова втолковывает ему, что нужно прогибаться, прогибаться! Саша повторяет попытку, прогибаясь. Верхняя часть его тела проходит, нижняя остается. Саша судорожно сучит ногами. Тут же стоит Корнеев со стаканом чаю, гогочет. Потом они вдвоем с Эдиком пробуют вытащить Сашу. Пробуют и так, и эдак. Лица у них становятся серьезными.

Разобранная стена. Саша сердито отряхивается. Корнеев и Эдик, насупленные, закладывают кирпичами пролом.

Саша работает у пульты машины — очень усталый, озабоченный, встрепанный. За окном крупными хлопьями падает густой снег.

Входит дубль Эдика — «Почкин 107».

— Чего тебе? — раздраженно спрашивает Саша, не отрываясь от работы.

— Хозяин... просит... явиться... на доклад... Выбегаллы... монотонно бубнит дубль.

— Не могу, не могу, занят, — нетерпеливо отвечает Саша. — Пошел вон.

Дубль исчезает, но в дверях сейчас же появляется хорошенькая девица, ведьма Стеллочка.

— Саша, — говорит она, — чего же ты? Пойдем!

Саша смотрит на нее, мотает головой.

— Стеллочка, не могу, — говорит он. — Честное слово, не могу.

— Но ты же обещал! Пойдем, говорят, будет что-то феноменальное...

Саша опять трясет головой.

(191)

— Нет-нет, не могу. Не проси.

Он включает печатающее устройство. Стеллочка, надув губки, удаляется. В дверь левым плечом вперед вдвигается Хома Брут, руки в карманы, кепочка на глаз.

— Слышь, Саш, — сипит он. — А ты чего тут торчишь? Все, понимаешь, бегут, а он тут торчит, как приклеенный.

— Отстань, отстань! — говорит Саша со злостью.

— Во дает! — удивляется Хома. — Зря. Мы там с шефом такую штуку сейчас отколем — закачаесть! Весь институт на воздух пустим...

Саша поворачивается к нему.

— Вместе со своим шефом, — говорит он громким шепотом, — иди, иди и иди. Понятно? Занят я! — орет он. — Некогда мне вашей чепухой заниматься!

Хома обиженно пожимает плечами и тут замечает на полочке склянку с ярлыком. Видно только слово «спирт». Лицо Хома немедленно проясняется. Покосившись на Сашу, который снова погрузился в работу, он вороватым движением хватает склянку, свинчивает колпачок и опрокидывает содержимое в рот.

Лицо его чудовищно искажается, из ушей вырываются струи дыма. (Саша рассеянно отгоняет дым ладонью.) Глаза съезжаются и разъезжаются.

Он смотрит на ярлык. «Нашатырный спирт».

Хома укоризненно качает головой, завинчивает колпачок, ставит склянку на место и вытирает губы. Из стены выходит озабоченный Эдик Почкин.

— Ну, что же ты, Саша? — говорит он. — Я же тебя звал.

— Да что там у вас происходит? — раздраженно спрашивает Саша. — Занят я. Не нужен мне ваш Выбегалло, и я, надеюсь, ему не нужен...

— Сейчас там каждый порядочный маг нужен, — говорит Эдик. — Это серьезно, Саша.

Звонит телефон. Саша срывает трубку. Голос Корнеева хрипит:

— Сашка? Ты что там отсиживаешься, хомяк? Трусишь?

Саша поражен.

— Да что вы, в самом деле, ребята, — лепечет он. — Ну, пожалуйста, ну, пошли...

Он бросает трубку и вслед за Эдиком устремляется в стену.

По занесенной снегом дороге Саша и Эдик спешат к огромному приземистому зданию, похожему на ангар. За ними по пятам, засунув руки глубоко в карманы, семенит Хома Брут.

Перед распахнутыми воротами ангара оживление: только что подъехавший автобус извергает из недр своих кучу корреспондентов с фото- и киноаппаратами наголо; спецмашина телевидения, от нее внутрь ангара уже тянутся кабели. Глава телегруппы в роскошной шубе нараспашку отдаёт распоряжения; его люди с натугой катят по снегу тележки с телекамерами; толпа сотрудников института собралась перед огромным плакатом ярмарочного вида.

Надпись на плакате: «Внимание! Внимание! Сегодня! Впервые в истории науки! Грандиозный эксперимент профессора Выбегалло! Демонстрация совершенной модели идеального человека! Доклад профессора Выбегалло А. А. Начало в 18.00. Просьба места для прессы не занимать».

Саша входит в ангар — огромное помещение на дырчатых железных фермах. Здесь уже светят юпитеры, вспыхивают блицы фотокорреспондентов. В центре ангара на дощатом помосте возвышается знаковый диван-транслятор, от него в разные стороны бегут пучки проводов и кабелей. На диване лежит гигантское яйцо, испещренное темными пятнами. По сторонам помоста — две генераторные башни с металлическими шарами наверху, между шарами время

«Аэлита»-90

от времени проскакивают молнии, и тогда звучат раскаты грома.

Почти сразу же Саша натывается на группу ожесточенно спорящих людей. Здесь Федор Симеонович Киврин, Кристоаль Хунта, Модест Матвеевич с неизменной папкой и профессор Выбегалло — в валенках, подшитых кожей, в извозчицком тулупе и в роскошной пыжиковой шапке.

— Достаточно того,— говорит Хунта, обращаясь к Выбегалло,— что ваш, простите, родильный дом находится рядом с моими лабораториями. Вы уже устроили один взрыв, и в результате я в течение двадцати минут был вынужден ждать, пока у меня в кабинете встанут вылетевшие стекла...

— Это, дорогой, мое дело, чем я у себя занимаюсь,— огрызается Выбегалло фальцетом.— Я до ваших лабораторий не касаюсь, хотя у вас там в последнее время бесперечь текет живая вода, я себе в ей все валенки промочил...

— Го-голубчик,— рокошет Федор Симеонович.— Амвросий Амбруазович! Н-надо же принять во внимание возможные осложнения... Ведь никто же не работает на территории института, скажем, с огнедышащим драконом...

— У меня не дракон! У меня идеальный счастливый человек! Исполни духа! Как-то странно вы рассуждаете, товарищ Киврин! Странные у вас аналогии! Чужие! Модель идеального человека и какой-то внеклассовой огнедышащий дракон!

— Г-голубчик, да дело же не в том, что он внеклассовый, а в том, что он пожар может устроить!

— Вот опять! Идеальный человек может устроить пожар! Не подумали вы, товарищ Федор Симеонович!

— Я г-говорю о драконе...

— А я говорю о вашей неправильной установке! Вы стираете, Федор Симеонович, вы всячески замалчиваете! Мы, конечно, стираем противоречия... между умственным и физическим... между мужчиной и женщиной... Но замалчивать пропасть мы вам не позволим!

— К-какую пропасть? Что за чертовщина? Кристоаль, в конце концов, вы же ему только что объяснили! Я говорю, профессор, что ваш эксперимент опасен! Понимаете? Институт можно повредить, понимаете?

— Я-то все понимаю,— визжит Выбегалло.— Я-то не позволю идеальному человеку вылупляться среди чистого поля на ветру! И Модест Матвеевич вот тоже понимает! Там мы имеем что? — Он указывает в пространство.— Природу! Стихии! Снег вон идет. Значит, считайте: обшивка сгниет, пружины лопнут. А кому отвечать? Модесту Матвеевичу!

— Это убедительно,— говорит Модест Матвеевич раздумчиво.

— Да он весь ангар вам разворотит,— говорит Федор Симеонович.— Этот эксперимент надо проводить не ближе пяти километров от города. А лучше дальше...

— Ах, вам лучше, чтобы дальше? — зловеще вопрошает Выбегалло.— Понятно. Тогда уж, может быть, не на пять километров, Федор Симеонович, а прямо уж на пять тысяч километров? Подальше где-нибудь, на Аляске, например! Так прямо и скажите! А мы запомним!

Воцаряется молчание, и слышно, как грозно сопит Федор Симеонович, потерявший дар слова.

— За такие слова,— цедит сквозь зубы Хунта,— лет триста назад я отряхнул бы вам пыль с ушей и провертел бы в вас дыру для вентиляции...

— Ничего, ничего,— отвечает Выбегалло.— Это вам не Португалия. Критики не любите...

— А ведь вы пошляк, Выбегалло,— неожиданно спокойным голосом объявляет Федор Симеонович.— Вас, оказывается, гнать надо.

— Критики, критики не любите,— отдуваясь, твердит Выбегалло.— Самокритики не любите...

1961 — Значит, так,— вмешивается Модест Матвеевич.— Как представитель администрации и хозяйственных делов, я в науке разбираться не обязан. Поскольку товарищ директор находится в отъезде, я могу сказать только одно: обшивка должна остаться целой, и пружины в порядке. В таком вот аксепте. Доступно, товарищи ученые?

С этими словами, переложив папку под другую мышку, он торопливо удаляется.

— Критики не любите! — в последний раз торжественно восклицает Выбегалло и тоже удаляется.

Хунта и Киврин безнадежно глядят друг на друга.

— А что, если я превращу его в мокрицу? — кровожадно говорит Хунта.

— Лучше уж в стул,— говорит Федор Симеонович.

— Можно и в стул,— говорит Хунта.— Я охотно буду на нем сидеть.

Федор Симеонович спохватывается.

— Г-голубчик, о чем это мы с тобой говорим? Это же негуманно... — Взгляд его падает на Хому.— Минуточку, дружок! Подите-ка сюда, подите!

Хома, сдернув кепочку, неуверенно приближается, искательно улыбаясь.

— Скажите-ка, дружок,— спрашивает Федор Симеонович.— Какие там у вас с Выбегаллою задействованы мощности?

Хома пытается уменьшиться в размере, но Хунта ловко хватает его за ухо и распрямляет.

— Отвечайте, Брут! — гремит он.

— Да я-то что? — ноющим голосом говорит Хома.— Как мне приказали, так я и сделал. Мне говорят, на десять тысяч сил, я и дал десять тысяч!

— Каких сил! — восклицает Федор Симеонович, раздувая бороду.

— Ма...магических,— мямлит Хома.

— Десять тысяч магических сил! — Ошеломленный Хунта отпускает Хому, и тот мгновенно улетучивается.— Теодор, я принимаю решительные меры.

Он взмахивает умклайдетом, длинным и блестящим, как шпага.

И сейчас же в отверстие ворота ангара с ревом вкатываются гигантские МАЗы, груженные мешками с песком, козлами с колючей проволокой, пирамидальными надолбами, бетонными цилиндрами дотов. Целая армия мохнатых домовых облепляет грузовики, со страшной быстротой разгружает их и начинает возводить вокруг помоста с яйцом кольцо долговременных укреплений.

— Десять тысяч магосил! — бормочет Федор Симеонович, ошеломленно качая головой.— Однако ж, друзья мои! Это же нельзя просто так... Это ж рассчитывать надо было!.. Это же в уме не сосчитаешь!..

Оба они поворачиваются и смотрят на Сашу. У Саши несчастное лицо, но он еще ничего не понимает и пытается хорохориться.

— А в чем, собственно, дело? — бормочет он, озираясь в поисках поддержки.— Ну, рассчитал я ему... заявка была... модель идеального человека... Почему я должен был отказывать?

— А потому, голубчик,— внушительно говорит ему Федор Симеонович,— что вы спрограммировали суперэгоцентриста. Если нам не удастся остановить его, этот ваш идеальный человек сожрет и загребет все материальные ценности, до которых сможет дотянуться, а потом свернет пространство и остановит время. Это же гений-потребитель, понимаете? По-тре-би-тель!

— Выбегалло — демагог,— добавляет Хунта.— Бездарь. Сам он ничего не умеет. И выезжает он на таких безответственных дурачках, как вы и этот алкоголик-золотые руки.

Под сводами ангара вспыхивают яркие лампы. Хома Брут с переносной кафедрой на спине поднимается на помост и устанавливает ее рядом с диваном. На кафедру взгромождается профессор Выбегалло.

Корреспонденты бешено строчат в записных книж-

ках, щелкают фотоаппаратами, жужжат кинокамерами. Ассистенты Выбегаллы в белых халатах устанавливают вокруг дивана мешки с хлебом и ведра с молоком. Один из них приносит магнитофон.

Выбегалло залпом выпивает стакан воды и начинает.

— Главное — что? Главное, чтобы человек был счастлив. А что есть человек, философски говоря? Человек, товарищи, есть хомо сапиенс, который может и хочет. Может, эта, что хочет, а хочет, соответственно, все, что может. В моих трудах так и написано. (Корреспондентам): Вы, товарищи, все пока пишете, а потом я сам посмотрю, какие надо цитаты вставить, кавычки, то-се... Продолжаю. Ежели он, то есть человек, может все, что хочет, а хочет все, что может, то он и есть, как говорится, счастлив. Так мы его и определим. Что мы здесь, товарищи, перед собою имеем?..

Пока Выбегалло говорит, с гигантским яйцом происходят изменения. Оно покрывается трещинами, сквозь которые пробиваются струйки пара.

— Мы имеем модель. То есть, мы пока имеем яйцо, а модель у его внутри. Имеется метафизический переход от несчастья к счастью, и это нас не может не удивлять, потому что счастливыми не рождаются, а счастливыми, эта, становятся в дальнейшем. Вот сейчас оно рождается или, говоря по-научному, вылупляется...

Яйцо разваливается. Среди обломков скорлупы на диване садится удивительно похожий на Выбегаллу человек в полосатой пижаме. Поперек груди белая надпись: «Выбегалло Второй Счастливый». Человек, ни на кого не глядя, хватая ближайшую буханку хлеба и принимается с урчанием пожирать ее.

— Видали? Видали? — радостно кричит Выбегалло. — Оно хочет, и потому оно пока несчастно. Но оно у нас может, и через это «может» совершается диалектический скачок. Во! Во! Смотрите! Видали, как оно может? Ух ты, мой милый, ух ты, мой радостный... Во! Вот как оно может!.. Вы там, товарищи в прессе, свои фотоаппаратики отложите, а возьмите вы киноаппаратики, потому как мы здесь имеем процесс... здесь у нас все в движении! Покой у нас, как и полагается быть, относителен, движение у нас абсолютно. Но это еще не все. Потребности у нас пойдут как вишрь, так, соответственно, и вглубь. Тут говорят, что товарищ профессор Выбегалло, мол, против духовного мира. Это, товарищи, клеветнический ярлык! Нам, товарищи, давно пора забыть такие манеры в научной дискуссии! Все мы знаем, что материальное идет впереди, а духовное идет позади, или, как говорится, голодной куме все хлеб на уме...

Модель жрет. Мешки с хлебом пустеют один за другим. В широкую пасть опрокидывается ведро молока. Модель заметно раздуло, полосатая пижама ей уже тесна.

— Но не будем отвлекаться от главного, от практики. Пока оно удовлетворяет свои матпотребности, переходим к следующей ступени эксперимента. Поясню для прессы. Когда временное удовлетворение матпотребностей произошло, можно переходить к удовлетворению духпотребностей. То есть: посмотреть кино, телевизор, послушать народную музыку или попеть самому, и даже почитать какую-нибудь книгу, скажем, «Крокодил» или там газету, не говоря уже об том, чтобы решить кроссворд. Мы, товарищи, не забываем, что удовлетворение матпотребностей особенных талантов не требует, они всегда есть. А вот духовные способности надобно воспитать, и мы их сейчас у него воспитаем.

Профессор Выбегалло дает сигнал ассистентам.

Угрюмые ассистенты разворачивают на помосте магнитофон, радиоприемник, кинопроектор и небольшую переносную библиотеку.

— Принудительное внушение культурных навыков! — провозглашает Выбегалло.

100

Магнитофон сладко поет: «Мы с милым расставались, клялись в любви своей...» Радиоприемник свистит и улюлюкает. Кинопроектор показывает на стене ангара мультфильм «Волк и семеро козлят».

Два ассистента с журналами в руках становятся перед моделью и наперебой читают вслух, а Хома Брут, примостившись тут же, бьет по струнам гитары и с чувством исполняет что-то залихватское.

Модель никак не реагирует. Проглотив последнюю буханку и опрокинув последнее ведро, она сидит на диване и шарит в неопрятной бороде. Извлекает из бороды длинную щепку, запускает ее между зубов, отрыгивает.

Затем выплевывает щепку и оценивающим взглядом обводит толпу.

Толпа пятится.

Саша мужественно заслоняет собой Стеллочку.

Пятятся тчецы с журналами, Хома Брут соскакивает с помоста и приседает на корточки.

Шум стихает. В наступившей тишине Выбегалло заканчивает свою речь:

— И вот он, товарищи, перед нами! Образец потребления материальных и духовных ценностей, счастливый рыцарь без страха и упрека.

Упырь внимательно смотрит на него. Он уже огромен, пижамная пара свисает с него ключьями.

Встретив внимательный взгляд, Выбегалло нервно поправляет галстук и произносит:

— Собственно, я закончил. Может быть, есть какие-нибудь вопросы?

Ему отвечает спокойный голос Хунты:

— Спасайтесь, старый дурак.

Но Выбегалло еще не понимает.

— Есть предложение, — начинает он, — эту реплику из зала решительно отмести...

Упырь не дает ему закончить. Он вытягивает немоверно длинную руку и хватая Выбегаллу за тулуп. Выбегалло замолкает и покорно вылезает из тулупа. Упырь хозяйски встряхивает тулуп, оглядывает его и кладет рядом с собой у дивана.

Выбегалло, ссыпавшись с помоста, ныряет в толпу. Толпа продолжает пятиться, а упырь тем временем неторопливо подтягивает к себе поближе радиоприемник, магнитофон, кинопроектор.

— Это, значить, все будет мне, — рокоочущим голосом объявляет он. Он снова оглядывает толпу. Взгляд у него нехороший, оценивающий какой-то. При этом он непрерывно облизывается.

С головы Саши вдруг срывается финская кепочка и улетает на помост. Упырь напяливает ее себе на плешь.

Стеллочка взвизгивает: с ее руки срываются часики. Упырь ловит их на лету.

— Всем в укрытие! — гремит усиленный мегафоном голос Хунты.

Все бросаются в проходы между проволочными заграждениями, а по очистившемуся пространству ангара ползут, скачут, по-лягушачьи летят птичками полушубки, манто, дубленки, часы, портсигары, кошельки, брюки, валенки, ботинки — и все на помост, все на помост.

Упырь мечется по помосту, подхватывает, жадно оглядывает, примеряет, запихивает в мешки из-под хлеба, злобно озирается, скалит клыки и взрыкивает:

— Мне! — хрипит он. — И это мне! И это! Мое!

За валом из мешков паника. Мечутся полуодетые, возмущенные и испуганные люди.

Толпа ограбленных терзает Выбегаллу. Особенно неистовствует Хома Брут в одной длинной рубаше до колен. Выбегалло отдувается и кричит фальцетом:

— Критики! Критики не любите!

Начальник группы телевизионщиков в подтяжках и трусах надрывается в телефонную трубку:

— Милиция! Милиция? Немедленно выезжайте! Массовое ограбление! Банда гангстеров! Главарь шайки — некий Выбегалло из НИИЧАВО!

Тем временем упырь на помосте подтащил к себе телевизионную камеру, груды фото- и киноаппаратов и жадно озирается, ища, чем бы еще завладеть. Его со всех сторон окружает кольцо проволочных ограждений и глухой вал из мешков. Мрачно смотрят амбразуры дотов.

— Машину! — капризно басит упырь. — Машину желаю!

И стена из мешков напротив вдруг разваливается, в пролом задом вкатывает огромный МАЗ, подкатывает к помосту и останавливается.

Упырь прыгает в ковш, жадно ощупывает кабину, ревет:

— Еще!

В пролом один за другим катят: автобус, на котором приехали корреспонденты, какой-то газик — из него на ходу выскакивает испуганный шофер, запутывается в проволоке, орет ужасным голосом; два «москвича», «жигули», старая «волга», новая «волга», «кадиллак»...

— По-моему, пора, — говорит Федор Симеонович Хунте, который не отрываясь наблюдает за упырем в стереотрубу.

— Начнем со снотворного, — говорит Хунта. — Давайте! — командует он кому-то через плечо.

Из-за вала высовываются несколько сотрудников и направляют на упыря брандспойт, присоединенный к серебрястой цистерне с надписью «Пиво». Пенная струя ударяет прямо в распахнутую клыкастую пасть.

Упырь приходит в дикий восторг. Сначала он жадно глотает, посыпая струю сверху солью из солонки, потом прыгает под струей, как под душем Шарко, го-гоча и шлепая себя под мышками, потом принимает торопливо наполнять ведра из-под молока — терпения у него не хватает, он протягивает руку на все двадцать метров, хватая брандспойт (сотрудники — врассыпную), тянет к себе, за брандспойтом тянется кишка, а за кишкой, разворотив мешочную стену, во владения упыря втягивается цистерна.

— Ну, с меня хватит! — объявляет Федор Симеонович.

Он засучивает рукава и порывается в пролом, но тут на нем повисают все, кто находится поблизости. Федор Симеонович в небывалом гневе. Из глаз его скачут шаровые молнии, он кричит:

— Дайте его мне! Сколько же можно терпеть!

— Пускайте Голема! — громовым голосом командует Хунта.

Слышится могучее шипение и свист.

Все приседают и втягивают головы в плечи.

Перемахнув через вал, на середину ангара ловко выскакивает Голем — не глиняный Голем из сказок, а современный робот из фантастических романов, весь из металла и пластика, гибкий, шестирукий, жутко светятся четыре пары глаз, из головы выдвигаются и прячутся телескопические рога антенн.

Упырь поворачивается к противнику, садится на ближайший мешок и длинными руками старается прикрыть свое богатство, как хохлушка цыплат.

— Не дам! — рычит он. — Катись отседова!

Робот с пневматическим шипением и свистом приближается.

Тогда упырь вскакивает, выламывает доску из помоста и кидается на врага.

— И-и-эх-х!

Робот легко уклоняется от молодецкого удара и средней правой наносит упырю короткий удар в лоб.

Упырь спиной вперед, размахивая руками, летит и врзается в помост. Над валом ликование. Свист, аплодисменты.

Упырь вскакивает, выворачивает из бетонного пола железный швеллер, летит на робота, вращаясь вокруг собственной оси, как метатель молота.

И снова робот легко уклоняется и встречает упыря могучей оплеухой.

(101)

Новый взрыв ликования на валу. Упырь лежит под грузовиком, на физиономии у него набухают два здоровенных фингала.

Робот, деловито наматывая на четыре руки толстый трос, приближается к нему.

На морде упыря ужас вдруг сменяется вожделем.

— Хочу! — хрипит он. — Желаю!

Робот приостанавливается. Упырь выбирается из-под грузовика и, непрерывно обливаясь, бормочет:

— Это будет мое! Это мне! Ух ты, мой милый!

Ух ты, мой радостный!..

Руки робота разом опускаются, трос падает на пол, глаза меркнут.

— Давай, давай, — говорит ему упырь и толкает в сторону помоста. — Давай, дело делай. Нечего тебе тут стоять...

И робот покорно принимается всеми шестью своими руками укладывать и упаковывать награбленное барахло.

Упырь радостно хохочет, разевая пасть на весь ангар.

— Ну, все, ребята, — говорит за валом Витька Корнеев. — Теперь наша очередь.

Саша с Эдиком Почкиным подтаскивают плетеную корзину, набитую стружками, из которых торчит горло четвертной бутылки, залитое сургуком. Торопливо горстями выбрасывают стружки.

Корнеев легко, одной рукой извлекает бутылку, читает ярлык:

«Джинн Злбйдух ибн Джафар. Выдержка с 1015 года до нашей эры. Опасно! Не взбалтывать!»

Виктор старательно трясет бутылку, поворачивает ее горлышком вниз и снова трясет. За стеклом возникает на мгновение, расплывается и снова исчезает жуткое искаженное рыло с кривым клыком и черной повязкой через глаз.

Вой милицейской сирены. К воротам ангара подкатывает милицейская «Волга» со световой вертушкой на крыше, из нее высыпаются оперативные работники. Все они кидаются рассматривать в лупу и фотографировать следы на снегу, а юный сержант милиции, подтягивая на ходу перчатки, устремляется в ангар.

Все замирает.

Сержант проходит через пролом в стене и, звеня подковками по бетонному полу, печатая шаг, направляется к упырю.

Упырь озадаченно смотрит на него. Потом облизывается, приседает, свесив длинные руки, и мелкими шажками движется навстречу.

Сержант, не останавливаясь, достает свисток, и длиннейшая трель оглашает ангар.

Робот за спиной упыря поднимает все шесть рук и опускает голову.

Упырь распахивает гигантскую клыкастую пасть, и в этот момент...

— Ложи-и-ись! — орет Корнеев на весь ангар.

Падает ничком сержант.

Падают ничком все за стеной.

Корнеев, заноса назад правую руку с бутылкой, разбегається и, как гранату, швыряет бутылку прямо в разверстую пасть.

Раздается звон битого стекла. Дикий хохочущий вой.

В воздухе появляется давешняя клыкастая морда с повязкой через глаз, затем все заволакивается клубами огненного дыма, словно вспыхнула бочка с нефтью. Громовые удары, рычание, хохот... Отчаянный вопль: «Не отдам, не отдам, милиция!»

Дым и огонь скатываются в клубок, и клубок этот катится по ангару.

Рушатся мешки с песком. Рвется в клочья колючая проволока. Валиются столбы генератора Ван-Граафа, летят в воздух доски постаментов, огромные подбитые кожей валенки, колеса автомашин, крутятся, переворачиваясь в воздухе, цистерна с надписью «Пиво»...

«Аэлита»-90



[102]

Сержант милиции с трудом поднимается на ноги, заслоняя рукой, пытается приблизиться к огненному клубку и пронзительно свистит.

В то же мгновение клубок с грохотом и треском лопается, выбросив в разные стороны струи огня.

Тишина. Там, где был постамент и горой высились награбленное, ничего нет. Только неглубокая воронка, из которой под своды ангара нехотя поднимается жиденькая струйка дыма.

Закопченный и основательно ободранный сержант приближается к воронке, заглядывает, наклоняется, поднимает огромную вставную челюсть и довольно долго рассматривает ее со всех сторон.

По всему ангару зашевелились, поднимаясь, люди. Тоже закопченные и оборванные, словно побывали под бомбежкой.

Сержант берет челюсть под мышку, извлекает из планшета блокнот и провозглашает:

— Потерпевших и свидетелей прошу записываться.

В лаборатории Витьки Корнеева ребята умываются и приводят себя в порядок. У Корнеева забинтована голова, Эдик пришивает пуговицу к куртке, Саша стоит столбом, а Стеллочка старательно чистит его щеткой. В углу, пригорюнившись, сидит Хома Брут в больших, не по росту, штанах.

— Выбегаллу-то в милицию забрали,— говорит, похотывая, Корнеев.— Массовое ограбление под видом научного эксперимента... Модест помчался выручать. Потеха!

— Этому гаду голову оторвать мало,— плачущим голосом говорит Хома.— Таковую гитару мне загубил...

— Гитара — бог с ней,— замечает Эдик.— Диван погиб.

— Ничего, ребята! — говорит Корнеев, подмигивая.— Без гитары мы проживем, а что касается дивана — как-нибудь с диваном уладится.

— Самим нам такой транслятор не смастерить,— говорит Эдик грустно.

Корнеев театральным жестом распахивает дверь в соседнее помещение, и все видят на центральном стенде знаменитый диван во всей его красе, правда, слегка подзакопченный.

Всеобщее изумление.

— Главное что? — объявляет Корнеев.— Главное — вовремя схватить и рвануть когти.

— Ну, братва,— восхищенно восклицает Хома,— по этому поводу надо выпить. Я сбегая, а?

— Сядь, Хомилло! — властно гремит Корнеев, и Хома покорно опускается на стул.— Мы здесь посоветовались с народом, и есть мнение, что пора и можно уже теперь сделать из тебя настоящего человека.

И снова полетели дни и ночи.

После долгих усилий из Хома сделали настоящего человека. Вот решающая стадия эксперимента. Хома Брут, побритый и в приличном костюме, с нормальным цветом носа, поставлен перед полкой, на которой выстроены несколько бугылок с водкой. Эдик вручает ему мелкокалиберный пистолет. Корнеев настраивает сложную аппаратуру из витых стеклянных трубок.

— Давай! — командует Эдик.

Хома силится поднять пистолет — не может, лицо его искажается, по лбу струится холодный пот. Эдик кивает Корнееву. Тот поворачивает какой-то верньер.

— Давай, давай, Хома! — приказывает Эдик.— Это враг! Это лично профессор Выбегалло! Гитару свою вспомни!

Хома, закрыв глаза левой рукой, вытягивает правую с пистолетом. Корнеев наводит стеклянный агрегат прямо Хоме в затылок.

— Глядеть! — командует Эдик.

Хома гордо вскидывает голову и закладывает ле-

вую руку за спину. Гремят выстрелы. Бутылки одна за другой разлетаются вдребезги. Гремят туш.

[103]

Саша и Стеллочка подносят Хоме новую гитару. На глазах у Хомы слезы, он судорожно прижимается и вдруг хихакает и мотает головой.

Федор Симеонович проводит серию экспериментов по омоложению. К «Алдану-12» с помощью множества проводов и датчиков присоединена Наина Киевна. Она сидит в кресле, скрючившись, положив руки и подбородок на свою клюку. Саша закладывает в программное устройство пачку перфокарт, Федор Симеонович сидит перед экранами контрольной аппаратуры, на которых виднеются рентгеновские изображения черепа, грудной клетки и прочих деталей организма Наины Киевны. «Пуск!» — командует Федор Симеонович. Саша нажимает кнопку. Наина Киевна превращается в приятную женщину средних лет. Клюка в ее руках дает молодые побеги, на которых распускаются цветочки. Наина Киевна восторженно и изумленно ошупывает себя, затем встает и, игриво покачивая бедрами, приближается к Федору Симеоновичу. Тот отмахивается от нее и пьтится в дверь. Наина устремляется за ним. Саша, поджав губы, рассматривает кусок ленты с длинными рядами цифр, чешет в затылке.

Саша продолжает совершенствоваться в магическом искусстве. На столе перед ним — основательно потрепанный том «Уравнений математической магии», распухший от многочисленных закладок, счетная машина «мерседес», стопка бумаги. В руке — умклайдет, деревянный, для начинающих, похожий на жезл регуляровщика. Эдик сидит перед ним с видом экзаменатора, сцепив руки на колене, крутя большими пальцами. Саша, поминутно заглядывая в учебник, производит какие-то вычисления на «мерседесе», рвет из бороды волосок и взмахивает умклайдетом. На столе перед ним появляется блюдце с грушей. Эдик, презрительно усмехаясь, берет грушу и бросает ее на пол. Груша разбивается на мелкие осколки. Саша озадаченно рассматривает умклайдет. Эдик показывает, как надо взмахивать. Саша повторяет его движение. На блюдечке появляется второе блюдечко с грушей. Саша пытается взять грушу и поднимает ее вместе с блюдечком, к которому она приросла. Саша со зверским лицом отрывает кусок груши и пробует. Морщится и выплевывает. «Ешь!» — грозно приказывает Эдик. Саша ест. По лицу его текут слезы.

А между тем Витька Корнеев разрабатывал в страшной тайне свою методику изъятия излишков времени у населения. Ночь, в окно Витькиной лаборатории всю светит луна. Она озаряет опутанный проводами диван, в спинку которого встроены два экрана. Над каждым экраном — циферблат, и еще один циферблат — между экранами. Витька, хмурый, обросший щетиной, заканчивает какие-то вычисления, берет листок с числами и садится перед диваном на табуретку. Включает экраны. На правом экране — прокуренная комната: Выбегалло, молодая Наина Киевна и Модест Матвеевич дуются в преферанс. На левом экране — Хома Брут, трезвый и бритый, в белом халате, собирает какой-то прибор: работа у него явно сложная, идет медленно. Стрелки на всех трех циферблатах показывают одно и то же время, секундные движутся с одной и той же скоростью. Витька набирает несколько цифр на миниатюрной клавиатуре, берется за верньер, встроенный в подлокотник дивана, и начинает медленно вращать. Раздается длинный звук

«Аэлита»-90



тормозящейся магнитофонной ленты. Картины на экранах и на циферблатах плавно меняются. Движения преферансистов становятся все более замедленными, и одновременно замедляется движение секундной стрелки на их циферблате. Хома же Брут, напротив, начинает двигаться все быстрее, и все быстрее бежит его секундная стрелка: собираемый прибор растет на глазах. Только на среднем циферблате стрелка продолжает отсчитывать истинное время. На правом экране игроки почти застыли в неподвижности, а на левом экране Хома Брут в бешеном темпе заканчивает работу, суетливо отряхивает руки и летит к двери. Витка поворачивает верньер в обратную сторону до щелчка. Все циферблаты приходят в соответствие с центральным, движения игроков становятся нормальными. Виктор выключает прибор, экраны гаснут, и в ту же минуту входит Хома. «Ну, я все закончил, — говорит он. Смотрит на ручные часы. — Обалдеть можно, за десять минут управился, а думал — до утра не кончу!». «Я тебе всегда говорил, что водка — яд», — угрюмо говорит Витка.

Саша Привалов в своей вычислительной лаборатории снимает трубку телефона и набирает номер. Лицо у него унылое. В лаборатории дым стоит коромыслом: с машины сняты все кожухи, в потрохах ее копаются люди в халатах, возглавляемые Хомой Брутом.

— Стеллочку можно? — говорит Саша в трубку.

На другом конце провода Федор Симеонович передает трубку Стеллочке. Стеллочка держит в одной руке реторту. Она — сотрудница отдела Линейного счастья. Здесь работают на оптимизм. Лаборатория похожа на роскошный цветник. Из зарослей цветов торчат грандиозные стеклянные трубчатые установки, в которых мерцает жидкий огонь.

— Але! — говорит Стеллочка.

— Ну, как ты там? — со вздохом осведомляется Саша.

— Я хорошо, — отвечает Стеллочка, косясь на Федора Симеоновича. — А ты?

— Пошли сегодня в кино, — предлагает Саша.

— В кино? Ты же работать грозился всю ночь.

Саша уныло оглядывает свою разгромленную лабораторию.

— Чинят. Долго будут чинить. Так пошли?

— Не знаю, — нерешительно говорит Стеллочка. — У нас сегодня...

— С-сходите, с-сходите, Стеллочка, — басит добродушно Федор Симеонович. — П-посмотрите что-нибудь т-такое... Потом р-расскажете...

— Что у тебя сегодня? — спрашивает Саша нетерпеливо.

— В шесть часов, — говорит Стеллочка.

— Где? — спрашивает Саша.

— Где обычно.

Саша, слегка повеселев, вешает трубку. Подходит Хома с тестером.

— Ты бы сдвинулся куда, Сашка, — говорит он. — Мешаешь...

Саша пятится, роняет прислоненные к стене кожухи и спотыкается об инженера, сидящего на корточках.

— Вы бы шли пока отсюда, Александр Иванович, — говорит тот недовольно. — Только мешаетесь...

— Иди, иди, — говорит Хома. — Там получку дают.

— Получку так получку, — со вздохом говорит Саша. — Но к завтрашнему-то дню вы управитесь?

Ему никто не отвечает. Он опять вздыхает и уходит.

Он идет по длинным коридорам. Все заняты, все спешат. Саша спускается в бухгалтерию, распахивает очередь, состоящую сплошь из дублей, и нагибается к окошечку кассира.

— А, Александр Иванович? Что это вы сегодня лично? Вот здесь, пожалуйста...

104
Саша расписывается в ведомости.
— А что, профессор Выбегалло в отъезде? — спрашивает кассир, отсчитывая деньги.

Саша пожимает плечами.

— Вы его не видели? — спрашивает кассир.

— Слава богу, нет, — говорит Саша.

— Вы знаете... — говорит кассир, отсчитывая деньги. — Раз, два, три, четыре, пять... Уже два часа выдаю, а его все нет. Обычно окошечко откроешь, а он тут как тут, самый первый...

— Проспал, наверное, — равнодушно говорит Саша. — Прибежит еще.

— Проспал? — кассир с сомнением качает головой. — Чтобы профессор Выбегалло проспал в день полочки?

— Может быть, заболел? — Саша заинтересовался.

— Дубля бы непременно прислал, что вы!

— Действительно, странно, — говорит Саша.

Он выходит в коридор и останавливает какого-то сотрудника.

— Выбегаллу не видел?

— Бог спас, — бросает сотрудник и устремляется дальше.

Саша останавливает другого сотрудника.

— Выбегаллу не видел?

— А что это такое?... А, Выбегаллу? Что ты, конечно, нет!

Саша в задумчивости бредет по коридору. Все, кого он останавливает, отвечают ему:

— Выбегалло? Оно где-то здесь болталло... Но вот когда — не помню. Давно.

— Один раз видел. Хватит с меня.

— А зачем он тебе? Делать тебе нечего?

Саша проходит мимо дверей, на которых висит табличка: «Заведующий отделом Разнообразных приложений тов. проф. Выбегалло А. А.». На ходу на всякий случай дергает ручку. Дверь заперта. Саша проходит дальше и заглядывает в лабораторию отдела Разнообразных приложений.

Атмосфера здесь самая неделовая. Все курят. Двое играют в крестики и нолики. Кто-то читает Симеона, поглощая бутерброды. Кто-то вытаскивает красивый мундштучок. Играет магнитофон.

— Выбегаллу не видели? — спрашивает Саша.

Все взоры обращаются на него. Затем все вопросительно переглядываются.

— А зачем он тебе? — спрашивает тот, что читал Симеона. — Что тебе — плохо без него?

— Серьезно, ребята, где Выбегалло? — спрашивает Саша.

— Был здесь как-то... — нерешительно говорит тот, что читал Симеона. — Дня три, наверное, назад.

— Раньше, — авторитетно отзывается сотрудник с мундштуком. — Это было еще до того, как ты на бюллетень уходил... Он еще спросил, что такое постельная принадлежность из пяти букв.

— А что это такое? — заинтересованно спрашивает один из игроков в крестики и нолики.

Со всех сторон сыпятся предложения: диван, тумба, одеял. Начинается спор. Саша проходит в дверь, на которой написано: «Группа самонадевающейся обуви». Здесь работают. Один сотрудник сидит в носках на специальном кресле, выставив наготове ноги, а другой регулирует чудовишный мокроступ, заводя его специальным ключиком, как заводную игрушку. Затем он пускает мокроступ по полу. Мокроступ с жужжанием, мигая маленькими фарами, подъезжает к сидящему и надевается на поставленную ногу. Жужжание переходит в визг, сидящий с воплем принимается стаскивать мокроступ. Когда ему удается извлечь ногу, оказывается, что носок в лохмотьях.

Саша осторожно прикрывает дверь и снова выходит в коридор. В коридоре Модест Матвеевич с неизменной папкой под мышкой дает указание двум лешим в комбинезонах и с ломачами. Выслушав указа-

ния, лешие подходят к стене и принимаются долбить ее.

Саша проходит в кабинет Эдика. Эдик занят — рассматривает что-то в биноклярный микроскоп, рядом с ним из регистрирующего прибора ползет лента самописца. Саша садится рядом с ним на стол и говорит:

— Выбегалло пропал.

— Это хорошо... — рассеянно говорит Эдик, но тут же спохватывается. — То есть, позволь... В каком смысле пропал?

— В буквальном. Нет его нигде. И давно.

Эдик хмурится.

— В бухгалтерии спроси, — говорит он. — Сегодня получка...

— Спрашивал.

— Подожди, подожди, — испуганно говорит Эдик. — Он и за деньгами не пришел?

Саша мотает головой. Эдик тихонько свистит, затем решительно берет телефонную трубку.

— Алло-у? — откликается томный женский голос.

— Извините, пожалуйста, — говорит Эдик. — Профессора Выбегалло можно к телефону?

— Кого?

— Это квартира профессора Выбегалло?

— Да-а... кажется. Толик, твой папа профессор?

В трубке вдруг раздается мужской голос.

— В чем дело?

— Профессор Выбегалло дома? — спрашивает Эдик.

— Слава богу, нет.

— Вы не скажете, где он?

— Ушел покупать «Огонек».*

— Давно?

— Недели две.

Эдик ошеломленно смотрит на трубку, затем осторожно кладет ее.

— Плохо дело, — говорит он. — Неужели пропал?

Они радостно смотрят друг на друга. Потом Эдик снова спохватывается.

— Нет, Саша, так нельзя, — решительно говорит он. — Надо искать. Сейчас я Модесту позвоню.

— А он тут, в коридоре...

Они выходят в коридор. Пролом уже сделан, Модест Матвеевич примеряется к нему. Рука с папкой не проходит. Модест Матвеевич делает лешим новые указания. Грохочут ломы, гремит осыпающийся кирпич. Саша и Эдик объясняют Модесту Матвеевичу ситуацию. Тот слушает со строгим выражением лица, приложив к уху руку.

Выслушав, он перекладывает папку под другую мышку и говорит:

— Вы полагаете, иностранная разведка?

— Вряд ли, — говорит Эдик. — Это было бы слишком хорошо.

— Возможно, пьяный где-нибудь лежит, — раздумчиво говорит Модест Матвеевич. — Бывали пренценденты... И в кабинете нет?

— Кабинет заперт.

— Есть предложение, — провозглашает Модест Матвеевич. — Создать временную комиссию по расследованию дела об исчезновении товарища профессора Выбегаллы в составе: председатель — Камноедов М. М., то есть я, члены комиссии — Почкин и Привалов, то есть вы двое. Доступно?

Он делает поворот кругом и гордо проходит сквозь пролом в стене. Эдик и Саша тоже проходят сквозь стену справа и слева от пролома. Лешие принимаются заделывать пролом.

Около кабинета Выбегаллы Модест Матвеевич извлекает из кармана связку ключей, выбирает нужный и открывает дверь.

Все трое входят и останавливаются на пороге. Страшная картина встает перед их глазами. Профессор

[105]



«Аэлит»-90

* Авторы напоминают читателю, что действие сценария происходит в конце 60-х годов.

Выбегалло неподвижно сидит за своим столом, склонившись над журналом «Огонек». В руке его карандаш. Он похож на покойника.

Модест Матвеевич снимает шляпу.

— Мир тебе, дорогой товарищ, — произносит он торжественно. — Ты погиб на посту.

Эдик бросается вперед и берет профессора за руку. Рука у профессора ооченела, как палка.

— По-моему, он жив, — неуверенно говорит Эдик. — Рука теплая.

— Как так — жив? — спрашивает Модест Матвеевич и надевает шляпу. — Значит, спит?

Эдик вглядывается в лицо профессора.

— Да нет, — говорит он. — Глаза открыты.

— Это еще ничего не значит, — уверенно возражает Модест Матвеевич. — Нынче многие по конторам наладились спать с открытыми глазами.

Между тем кабинет наполняется любопытными. Ходят, смотрят, недоумевают. Кто-то отмечает толстый слой пыли на столе. Кто-то замечает паутину, растянутую между плечами профессора и стеной. Саша заглядывает в журнал. «Огонек» раскрыт на кроссворде. Рядом лежат разрозненные тома энциклопедии. На них тоже пыль.

Все вдруг расступаются. В кабинет стремительно входят Федор Симеонович и Кристоаль Хозевич. При почтительном молчании присутствующих они приступают к делу: Федор Симеонович ощупывает Выбегалло, а Кристоаль Хозевич словно бы ощупывает вокруг Выбегаллы воздух.

КИВРИН: Ан-набиоз...

ХУНТА: Похоже... Анабиоз во внешнем поле.

КИВРИН: Д-да, внутреннего поля не ощущается... Т-ты знаешь, Кристо, это пох-хоже на остановку... А какое там у тебя поле?

ХУНТА: Похоже на темпоральное. Но очень мощное. Источник примерно там...

Раскинув руки крестом, он медленно поворачивается и замирает. На лице его смущение.

— Странно... — говорит он. — В моем отделе... Двести вторая комната...

Саша с Эдиком быстро переглядываются. Эдик кивает, и Саша, выбравшись из толпы, выскакивает за дверь.

Он со всех ног мчится по коридорам и по лестницам и останавливается, запыхавшись, перед дверью, на которой обозначен номер 202 и красуется табличка «Лаборатория Корнеева В. П.». Он дергает ручку. Дверь заперта. Он стучит. Никто не отвечает. Тогда он выгибает грудь колесом, вытягивает носочки и шагает сквозь дверь.

В лаборатории Корнеева царит полумрак. ярко светится большой экран, на котором видны оцепенелый Выбегалло, Киврин, Хунта и прочие. Киврин и Хунта, настороженно выпривившись, пристально глядят с экрана прямо на Сашу. В отсветах экрана Саша различает Витьку Корнеева. Витька почти невиден. С невероятной скоростью он движется в сплошном сплетении проводов, перегонных кубов и прочей аппаратуры.

— Витька! — испуганно кричит Саша.

Мгновение, Корнеев оказывается возле экрана. Что-то щелкает.

Профессор Выбегалло оживает на экране. Он подносит карандаш ко рту, кусает его и задумчиво говорит:

— Прогулочное судно из четырех букв... Лодка! Л... О... Т...

И тут он замечает вокруг себя людей, остолбенело глядящих на него.

— В чем дело, товарищи? — раздраженно осведомляется он. — Я занят. Модест Матвеевич, я прошу это немедленно прекратить!

Витька выключает экран, и сейчас же загорается

(106) свет. Вид у Витьки ужасен: он небрит, осунулся, двухнедельная щетина покрывает его щеки.

— Засекли все-таки... — бормочет он хрипло.

— Что все это значит, Виктор? — спрашивает Саша.

— Мне бы еще часов пятнадцать, — бормочет Витька. Он берет большой стеклянный сосуд с прозрачной жидкостью и смотрит его на свет. — Видал?

— Ничего не понимаю, — говорит Саша. — Что ты с Выбегаллой сделал? Что ты с собой сделал?

— Я живую воду сделал, балда! — хрипит Корнеев. — Смотри!

Он ставит сосуд на стол, хватает из ведра со льдом замороженную камбалу и кидает в живую воду. Камбала переворачивается вверх брюхом и вдруг оживает, переворачивается и ложится на дно, шевеля плавниками.

— Колоссально! — восклицает Саша, загораясь.

— Мне бы еще часиков пятнадцать... ну, десять, — бормочет Корнеев. — Скорость реакции очень маленькая, понимаешь? Мне бы реакцию ускорить!

Саша опомнился.

— Подожди, — говорит он. — А Выбегалло-то здесь при чем? Что ты с ним сделал?

— Да ничего я с ним не сделал, — нетерпеливо говорит Корнеев. — Две недели времени у него отобрал, у тунейдца. Зачем ему время? Все равно же кроссворды дурацкие решает, да в преферанс дует... Да это вздор! Ты мне лучше вот что... ты мне лучше подсчитай вот такую штуку...

Он наклоняется над столом и принимается быстро писать.

Между тем в кабинете Выбегаллы назревает очередной скандалчик.

— Вы мне это прекратите, товарищ профессор Выбегалло! — орет Модест Матвеевич. — Вы мне объясните, почему вы нарушаете трудовое законодательство?

— Никогда! — вопит Выбегалло. — Основы трудового законодательства я всосал с молоком матери! А что касается кроссвордов, то это есть гимнастика ума! Великий Эйнштейн, если хотите знать, решал кроссворды! И великий Ломоносов решал кроссворды! И этот... как его... великий этот...

— Вы это прекратите! — перебивает Модест Матвеевич. — Работой временной комиссии установлено, что вы четырнадцать суток провели в данном кабинете, следовательно, четырнадцать ночей ночевали здесь, следовательно, четырнадцать раз нарушали трудовое законодательство, а также категорическую инструкцию о непробывании!

Выбегалло вытаращивает глаза.

— То есть, как это — четырнадцать суток? Это какое же нынче число?

— К вашему сведению, сегодня девятнадцатое!

Выбегалло медленно поднимается.

— Так позвольте же! — произносит он. — Это, значит, получку дают! Как же вы можете меня от этого отвлекать? Позвольте, позвольте, товарищи! — Он устремляется было из-за стола, но паутина не пускает его. — Да позвольте же! — в полный голос вопит Выбегалло, рвет паутину и, распахивая присутствующих, пулей вылетает в коридор.

— В таком вот аксепте, — говорит Модест Матвеевич, строго озирая присутствующих. — Трудовое законодательство — это вам не формулы, понимаете, и не кривые. Его соблюдать надо. — Он делает движение, чтобы уйти, но любопытство перегиливает, и он наклоняется над кроссвордом. — Прогулочное судно из четырех букв... Лодка! Л... о... т... Гм!

В лаборатории Корнеева Саша и Витька, упершись друг в друга головами, что-то чертят и пишут. Пол уже забросан исчерканными листками бумаги. Сосуд с камбалой стоит на диване. Камбала чувствует себя хорошо.

— Конечно, если в нашем озере всю воду превратить в живую... — бормочет Саша.

— Да не в нашей луже, балда, — огрызается Корнеев.

— Ну, я понимаю, из озера вытекает ручеек, ручеек впадает в речку...

— Да при чем здесь речка, кретин! Всю воду, понимаешь? Всю воду на Земле можно превратить в живую. Всю!

— Вот этого я не понимаю, — говорит Саша. — Энергии же не хватает.

— Да как же не хватает? — плачущим голосом восклицает Корнеев. — Ну, что ты за дубина? Я же тебе показываю...

Задвижка на двери сама собой отодвигается, и дверь распахивается. На пороге — Киврин, Хунта, Эдик Почкин. Стеллочка и прочие другие.

— Что же это вы, г-голубчик, затеяли? — укоризненно осведомляется у Корнеева Федор Симеонович.

— В уголовщину ударились, Корнеев? — неприятным голосом произносит Хунта.

Корнеев стоит, набычившись.

— Почему это — в уголовщину? Ничего такого в уголовном кодексе нет. Если у человека не хватает времени для работы, а ослы гоняют в это время в домино и в карты... Может же человек...

— Н-нет, голубчик! — строго говорит Федор Симеонович. — Н-не может. Человек — не может.

— Федор Симеонович! — восклицает Саша, выскочившая вперед. — Кристобаль Хозевич! Он же живую воду сделал!

— Живая вода — это прекрасно, — говорит Хунта. — Однако даже такая блестящая цель не может оправдать таких позорных средств. Вы, Корнеев, кажется, взяли на себя права и обязанности господа бога — решать, кому время нужно, а кому оно не нужно. А ведь вы не господин бог! Вы всего лишь маг и волшебник. Способный маг и волшебник, но не более того.

Корнеев открывает было рот, чтобы начать спор, но Федор Симеонович останавливает его властным движением руки.

— Н-нет, голубчик, — говорит он. — И вы сами знаете, что нет. Живая вода, наука, открытия — все это прекрасно. Но не за чужой счет, голубчик. Не кажется ли вам что усматривается некоторая параллель между вашими действиями и действиями некоего профессора, специалиста по разнообразным приложениям? Н-нет уж, вы не морщитесь, голубчик. А как же? Тот ворует чужой труд, а вы воруете чужое время. Н-не годится, и не верю я, что вы об этом не думали.

Он подходит к дивану и ласково гладит обшивку.

— Вот и диван вы украли... д-деградируете, Витя, деградируете...

— Вы не младенец, Корнеев, — говорит Хунта. — Могли бы, кажется, понять, что задача не в том, чтобы перераспределить время — у одних отобрать, а другим отдать. Задача в том, чтобы ни у кого на земле — ни у кого! — не было лишнего времени. Чтобы все жили полной жизнью, чтобы все жили увлеченно и в увлечении этом видели свое счастье!

Часть стены обрушивается. Пролом имеет вид фигуры Модеста Матвеевича. Входит Модест Матвеевич и хозяйственно озирается.

— Так! — произносит он. — Я вижу здесь диван, инвентарный номер одиннадцать двадцать три, каковой диван числится у нас списанным.

Камбала в сосуде медленно переворачивается вверх брюхом и всплывает.

Вечереет. За окном закат. Витя, Эдик и Саша, теперь уже троим, работают за столом в Корнеевской лаборатории. Трещит «мерседес», летят на пол испитые листки бумаги. Из-под знаменитого дивана

(107) торчат ноги Хомы Брута. Потом он вылезает из-под дивана, озабоченно оглядывает его со всех сторон, стучит по нему ногой, как шофер по скату.

— Порядок, — говорит он. — Принимайте.

Саша вздрагивает, смотрит на него, смотрит в окно, смотрит на часы и с досадой бьет кулаком по столу.

На берегу озера, держась за руки, медленно идут парень и девушка. Останавливаются, целуются, поворачивают обратно.

По шоссе проходит машина. Фары ее озаряют спины молодых людей. У парня белая надпись: «Привалов 12», у девушки — «Стелла 56»...

— НЕТ-НЕТ, — говорит за кадром голос Саши. — ЭТО ПРОСТО ШУТКА...

Парень счищает надпись у девушки со спины. — ...ЭТО, КОНЕЧНО, ШУТКА. ТАК ВООБЩЕ НЕ БЫВАЕТ, ДАЖЕ У НАС В ИНСТИТУТЕ.

Девушка счищает надпись со спины парня. — ...НО ЗАТО ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ, ЧТО ВЫ ЗДЕСЬ ВИДЕЛИ, ЭТО ПРАВДА, ЧИСТЕЙШАЯ ПРАВДА... И ТО ЛИ ЕЩЕ БУДЕТ!

Январь 1972 г.



ЧУДА НЕ БУДЕТ...

Александр РОМАНОВ

— Опергруппа на выезде! Улица Павки Корчагина, 137-а, 117. Похоже, блокада памяти...

Свет фар прорезает тьму. Улицы пусты — на исходе ночь.

— Как бы Васенька в школу не опоздал. Теперь и не позвонить!

— Не проспит, он у тебя ответственный парень. У меня вот сегодня юбилей: семнадцать лет супружеской жизни, так что я вас приглашаю. Ох, и напьемся!

— Поздравляю, старик! Но не похоже, чтобы ты пьянствовал.

— Тут запьешь: третий случай за дежурство...

— Что-то надо делать! Васенька у меня как раз в таком возрасте — подумать страшно...

— Женщина, при чем здесь возраст? Ты уже забыла деда? Семьдесят лет, а туда же: нашел в памяти что-то — и замкнулся...

— Социальная проблема. Жертвы бездуховности...

— Это старик-то бездуховен?! С его эрудицией, интересами?

— Запретить — и все. Пока не поздно.

— Что запрещать-то? Любкой школьник соберет собственноручно и подклянется...

— Кончай дискуссию! Приехали...

Закон подлости: не работает лифт. Каменные ступени гулко разносят топот. Вот и распахнутая дверь № 117, лицо не старой еще, плачущей женщины... Мимо — быстрее — двери — быстрее — еще двери... Пацан лет четырнадцати. Постель раскидана, скрюченные ноги свесились на пол. Лицо блеее простыни, лоб в присосках, провода тянутся к столу, к явно самодельному прибору.

— Вот и самоделка... Разворачивай быстрее.

— Мамаша, вы мешаете... Как альфа-ритм?

— Сейчас, сейчас... Давно это?

— Ой, не знаю я... Спала. И как толкнуло что! Вошла, а он... — Безутешный всхлип, щелканье тумблеров, змеистая кривая на экранах.

— Мамаша, выйдите, вы мешаете... Как альфа-ритм?

ТЕБЯ ОЖИДАЕТ ЧУДО!

Сердце пляшет в неудержимом веселье, он бежит по ступенькам — вверх, вверх, лифт — для недужных, вон как весело цокают ступеньки — вверх, вверх! Вот и флаер, сердце ухает в бездну — не пришла... Стукоток каблучков, оглянулся — она!

ТЕБЯ ОЖИДАЕТ ЧУДО!

Бежит, танцует, извиваясь руками над головой, брызги солнца режутся на белом платье, рыжих волосах, загорелых коленках... Флаер свечой взмывает в небо, рассыпая по миру звон колокольчиков — ее смех... Он управляет одной рукой, взяв в другую ее теплую и мягкую ладонь — и она не отняла!

ТЕБЯ ОЖИДАЕТ ЧУДО!

На кухне соседка успокаивает плачущую мать, но что слова, когда беда в доме? Слова — звуки, они могут оплести, опутать, вселить надежду, столкнуть в отчаянье — но не отведут беду...

— Павлик, Павлик, что ж ты наделал... Такой добрый, чуткий... Для него только и живу...

1108

— Успокойся, приехали ведь, помогут, значит.

— Это она во всем виновата... Я уж позвонить хотела, да что я ей скажу... И Павлик не простит...

— Не плачь, говорю, перестань. Выпей вот. Кто она-то?

— Да с девочкой он поссорился... Всегда был веселый, светился весь, а тут пришел... Сразу поняла — поссорились...

Врывается женщина-врач: воды! Выхватывает стакан, бежит к Павлику...

На бескрайней глади океана одинокий островок. Она в восторге, он счастлив и горд ее радостью... Флаер мягко опускается, они выпрыгивают под щедрое солнце на удивительно зеленую траву...

ТЕБЯ ОЖИДАЕТ ЧУДО!

Смеется и танцует, она взбегает на скалу, распускает свое белое платье в причудливые радужные крылья — модница! Он взлетает с места, старые добрые «орлиные» крылья легко несут его к порхающей фее — прекрасно жить, и мир прекрасен!

ТЕБЯ ОЖИДАЕТ ЧУДО!

Океан ласковой теплой волной качает два юных сердца, растворив остальное за ненадобностью... Доброе солнце мягко греет счастливых мокрых влюбленных, нежащихся на песочке...

ТЕБЯ ОЖИДАЕТ ЧУДО!

Комната похожа на лабораторию — всюду электроника. Серые сумерки за окном сменились таким же серым утром... Щелкают тумблеры, светятся экраны, пахнет больницей.

— Ох, и напьюсь же я сегодня... Снимай присоски. Рано?.. Снимай-снимай! Выматывают же эти блокадники. — Обошлось, слава богу. Это он из-за девочки — на кухне случайно подслушала...

— Что обошлось? Очухается — опять облепит башку присосками. Когда-нибудь все равно не успеем!

— Что ты предлагаешь?

— Но кто-то же должен им объяснить! Человек становится человеком только через боль. Это как закалка стали! У каждого ведь были утраты, что ж, бежать из-за этого в воспоминания?

— Ты, старик, уже не раз заявлял, как сегодня напьюсь. Это ведь тоже бегство от реальности...

— Брось! Отлично знаешь: никакой пьянки не будет! Потому что завтра опять сидеть и ждать вызова вот к такому же.

— Не то все, не то. Жить надо для других, не для себя!

Хочоха и что-то выкрикивая, двое бегают друг за другом по песку... Невдалеке молодой художник грустно улыбается за своим этюдником — и его коснулась крылом птица любви...

ТЕБЯ ОЖИДАЕТ ЧУДО!

Слишком много счастья, а счастьем невозможно владеть в одиночку — надо поделиться, оно, счастье, делением умножается, и вот уже она щелкает браслетом, зовет на остров всех-всех-всех, он собирает сучья, готовит костер...

ТЕБЯ ОЖИДАЕТ ЧУДО!

Сердце пляшет в неудержимом веселье, он бежит по ступенькам — вверх, вверх, лифт — для недужных, вон как весело цокают ступеньки — вверх, вверх! Вот и флаер, сердце ухает в бездну — не пришла... Стукоток каблучков, оглянулся — она!

ТЕБЯ ОЖИ...

— О, дьявол! Стимулятор! Быстро!

С таким трудом укрощенная змея взметнулась на экране в бешеной пляске, люди заматались от тела к приборам, что-то включая, что-то настраивая... Как в наемешку, выглянуло солнце, пролилось в окно чудесной небесной синью и золотом... Змея прыгнула через весь экран, выгнулась в невообразимом зигзаге — и выпрыгнулась тонкой неподвижной горизонталью.

Врач уронил руки — всё. А в дверях застыла мать, страшно зажимая руками рот...

«Алиге»-90



ЧЕЛОВЕК И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

Владимир
БОРИСОВ

Конечно, я не бог. Я месяц создавал человека, а он управился за сокращенный рабочий день, субботу. Но разве ж то была работа?

В. Савченко

Очень интересный показатель шкалы «Фантазия-2» — оценка человековедческой ценности, ведь литература — это человековедение (и обществоведение). Сила фантастической идеи зависит и от того, в какой мере она позволяет раскрыть (исследовать, изобразить) особенности человека и общества. Например, рассказ Александра Казанцева «Взрыв» (Тунгусский взрыв — катастрофа космического корабля с атомным двигателем) содержит идею новую и убедительную (на время появления рассказа, в 1946 году) — по этим показателям можно ставить высокие оценки, не ниже 3-х баллов. Но ни идея, ни рассказ не имеют человековедческой ценности. В форме рассказа изложена научно-фантастическая идея — и только. Позже И. Шкловский высказал в очерковой форме идею о том, что спутники Марса имеют искусственное происхождение. Форма разная — у Шкловского очерк, у Кузнецова рассказ — но в обоих случаях есть сильная научно-фантастическая идея — и нет человековедения.

Итак, 1 балл — чисто научно-техническая идея (ситуация) или идея, относящаяся к человеку (обществу), но не содержащая элементов новизны. В частности, известная человековедческая ситуация, без изменений «разыгранная» на фантастическом фоне.

Увы, можно привести множество примеров, даже у сильных и известных писателей:

— Иван Ефремов, «Олгой-хорхой»: встреча с электрическим «червем» ничем не отличается от встречи со львом или электрическим скатом;

— Артур Кларк, «Из солнечного чрева»: жизнь в недрах Солнца (чисто научно-техническая идея);

— Михаил Емцев и Еремей Парнов, «Сфера Шварцшильда»: обнаружение «осколка от первых процессов мироздания»...

2 балла — о человеке (обществе) сказано уже известное, но есть новые детали, особенности и т. п. В частности, новые ощущения человека в необычной среде.

Примеры:

— Александр Беляев, «Человек-амфибия»: ощущения «человека-рыбы»;

— Генрих Альтов, «Девять минут»: экипаж космического корабля без капитана (нормально работающий коллектив без начальника). В фантастике всегда — даже в далеком будущем — были капитаны;

— Джек Финней, «Меж двух времен»: ощущение современного человека, попавшего в спокойный мир прошлого века — без автомобилей, телефонов, кино, без спешки и т. д.

3 балла — человек (общество) поставлен в необычные обстоятельства, благодаря чему в человеке (обществе) раскрывается нечто новое (по сравнению с более ранними произведениями).

Примеры:

— Герберт Уэллс, «Страна слепых»: к зрячему в стране слепых относятся как к больному и собираются «лечить», выколол глаза;

— Дэниел Киз, «Цветы для Эдджернона»: изменение уровня развития человека позволяет проследить изменение взаимоотношений с окружающим миром;

— Станислав Лем, «Возвращение со звезд»: особенности общества, в котором осуществлена «бетризация» (уничтожен страх, но с ним уничтожена и жажда поиска),

4 балла — новые принципы (или новое о принципах) построения общества. В частности, все существенно новые утопии и антиутопии («Люди как боги» Герберта Уэллса, «Гуманность Андромеды» Ивана Ефремова, «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли).

Прежде чем поставить окончательную оценку, постарайтесь ответить:

— Что нового мы узнали о человеке и обществе? Велика ли «доза» новых сведений (мыслей): детали или нечто принципиальное? Может быть, что-то новое о принципах построения и изменения всего общества? Не завышена ли оценка? 4 балла — это уровень эпилога «Войны и мира» Льва Толстого...

Задание пятое: Оцените человековедческую ценность идеи в последнем прочитанном вами фантастическом произведении. Обоснуйте вашу оценку, отметьте то новое, что вы обнаружили.

Попробуйте улучшить оценку человековедческой ценности этой идеи.

Для начала — несколько цитат. «...Мозг знал, что цивилизация, которая не развивается, обречена. Он понимал это слишком хорошо, зная судьбу вертов и их жалкое угасание, когда десятки последних поколений вертов могли существовать лишь под защитой кирдов, когда кирды думали за них, работали за них и под конец начали жить за них. Это было неминуемо. Верты слишком полагались на созданный ими Мозг, все больше и больше перекладывая на него заботу о прогрессе. Они разучились думать и тем самым обрекли себя на физическое вымирание, потому что

НЕ ДОПУСТИТЬ ВАКАНСИИ!..

у высокоразвитых цивилизаций мышление и существование синонимы. Верты вымирали...» (З. Юрьев. Башня Мозга).

«То, что с нами произошло, можно было предвидеть без труда. Нами овладела мыслительная лень. Никто больше не читает: даже детективные романчики кажутся произведениями, требующими слишком большого духовного напряжения. Никто больше не играет: в крайнем случае раскладывают безобидные и безопасные пасьянсы. Даже детские фильмы кажутся чересчур уютными. А в это время обезьяны про себя размышляют... их мозг развивается...» (П. Буль. Планета обезьян).

«Всем жилось хорошо. Так зачем терзаться? Есть еда, есть одежда, есть кров, есть дружеское общение, развлечения, всяческие удобства. Есть все, чего только можно себе пожелать.

И человек прекратил попытки что-то сделать. Он наслаждался жизнью. Стремление достичь чего-то ушло в небытие, вся жизнь людей превратилась в рай для пустцветов» (К. Саймак. Город).

Эти отрывки словно бы взяты из одного произведения; не правда ли? Оказывается, угрозу человечеству несут не только гипотетические коварные пришельцы из космоса, мечтающие о том, как бы извести человечество. Опасность — может быть, даже более реальная — таится в самом человеке.

Что есть человек? Каково его предназначение и место в природе? Каковы права и обязанности личности в обществе? Какова «объективность» человеческой морали и может ли вообще существовать иная, нечеловеческая мораль?

Над всем этим неизбежно задумываешься, читая настоящую НФ литературу.

Тема вымирания человечества вообще очень распространена в НФ, особенно в жанре антиутопии. Правда, подавляющее большинство произведений на эту тему описывает самоуничтожение человечества в результате термоядерной войны, а не «добровольный» уход людей от цивилизации и от жизни из-за нежелания мыслить, бороться. Впрочем, и всеуничтожающая война может быть развязана только по недомыслию. Воистину: мыслю — значит, существую!

Вот, например, рассказ У. Тэнна «Нулевой потенциал». Действие его начинается спустя несколько месяцев после Второй атомной войны. Но уцелеть и выжить в такой войне оказывается все-таки проще, чем избегать смерти духовной. Все начинается как будто медленно, незаметно, затем ход событий убыстряется, охватывает весь мир. И все больше становятся удары, наносимые обществу, где царит культ посредственности, где каждый хочет прежде всего иметь право зваться Простым Американским Парнем, где быть интеллигентом считается чем-то неприличным. Этому культу ложной простоты соответствует одновременное наступление искренней посредственности в культуре, искусстве, политике, науке. Под конец же автор показывает нам собачью цивилизацию, в которой человеку отведено место домашнего животного: лучшего он к тому времени и не заслуживает.

В повести Л. Лукьянова «Вперед к обезьяне!» человеческая цивилизация поворачивает вспять и люди переселяются... на деревья. Они бегут из города в лес, потому что им «осточертел город с его политикой, с его деньгами» и другими «благами» общества.

Духовное и физическое вырождение общества, «безбрежность материального достатка и кладбище умственной пустоты» рисует Дж. Д'Агата в романе «Америка о'кей». «Представьте — ооо! — как через тыщу — ууу! — лет пришельцы из космоса высаживаются на Земле. Необитаемой. Ох ты! Шар — ууууу! — покрытый — ооо! — дерьмом. Тилим-тим-тим». Бедные пришельцы...

А в повести А. Шалина «Вакансия» люди, потеряв творческую инициативу, сделали всего лишь бездумными потребителями. Они «купались в роскоши и удовольствиях. Они ели все мыслимые и немыслимые деликатесы, улажали себя самыми изощренными способами... И постепенно умертвили свои мозги». Ведь развлечения не требуют особого умственного напряжения.

«Люди не только ленились думать, трудиться, но и постепенно теряли вкус к жизни, само существование становилось им в тягость». Словом, та же ситуация, что в «Башне Мозга»: занявшие жилища людей, их место на планете куклы-роботы не смогли полностью заменить человека. Цивилизация зашла в тупик, для выхода из которого необходимо присутствие человека-творца.

Нечто похожее произошло и с мерсианской цивилизацией в повести М. Маркова «Ошибка физиолога Нью». Пытаясь достичь долголетия на пути «механизации» человеческого организма, древняя цивилизация Марса пришла к гибели в результате разъединения и отчужденности людей. Видимо, прогресс человечества может продолжаться лишь в том случае, если между людьми возникнут новые, более прочные духовные связи, появятся полное взаимопонимание.

В рассказе Хосе Гарсиа Мартинеса «Роб-ерт и Роб-ерта» люди уже мало отличаются от роботов, так как успехи в области изготовления протезов столь же велики, как и опасность быть сбитым машиной или попасть в какую-нибудь иную аварию и переделку. Эти полулюди-полумеханизмы так опасаются коварства окружающих их роботов, что забывают обращать внимание на самих себя. Возникшие же между ними недоверие и подозрительность вряд ли будут способствовать прогрессу цивилизации.

Сказанное относится и к рассказу Герберта Франке «Психотерапия», герой которого одержим патологическим страхом перед роботами.

Впрочем, если судить по рассказу А. Шалимова «Все началось с «Евы», для некоторых опасений есть основания. Роботы у А. Шалимова заняли место людей, вытеснив их в леса и отбросив чуть ли не в каменный век.

И все же механизация и роботизация человеческого организма, замена человека машиной — если и не выдуманная с легкой руки Карела Чапека опасность, то, во всяком случае, проблема довольно отдаленного будущего.

Будем надеяться — с машинами и роботами человечество, если что, справится. Но вот духовная, нравственная деградация, утрата творческого начала, человеческого облика — эта проблема поважнее и касается не только дня завтрашнего, но дня сегодняшнего.

Могучая цивилизация оххров в романе З. Юрьева «Дарю вам память» чуть не закончила свое существование самоубийством только потому, что вовремя не поняла простой истины: «Знание само по себе, без цели и любви, сухо и бесплодно».

Цивилизации оххров пришли на помощь представители земного че-

ловечества. А вот как быть самим землянам? Тоже надеяться на помощь братьев по разуму?

В журнальном варианте знаменитой «Машины времени» Г. Уэллса был эпизод, в котором описывалась еще одна останова. Улетов от морлоков и злоев и еще не успев попасть во времена гигантских крабов, Путешественник обнаруживает последних потомков человека. Это крошечные сероватые существа, ростом вполвину меньше кенгуру, и они служат пищей гигантским сороконожкам. Человечество выродилось само по себе в результате эволюции, и не понадобилось даже нашествия кровожадных марсиан.

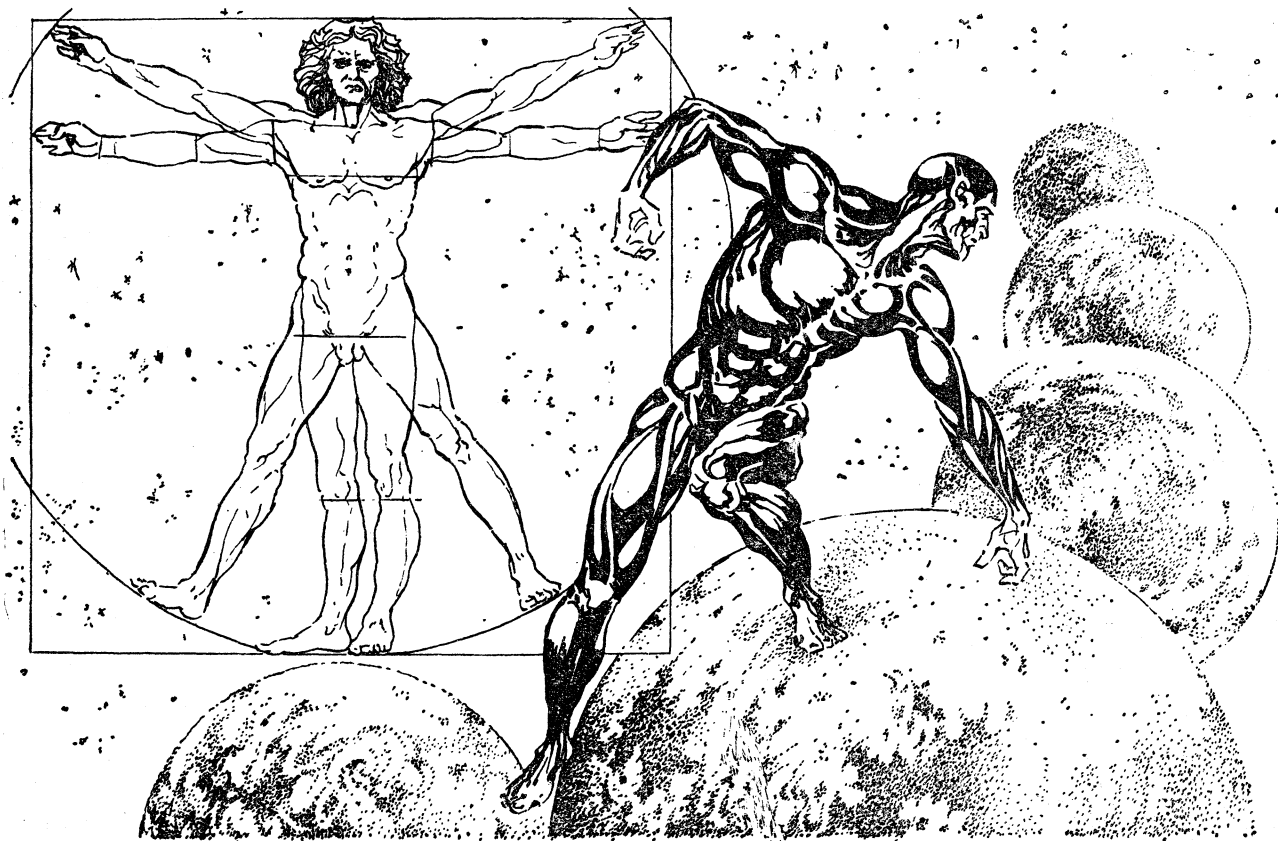
А что ожидает людей в романе С. Лема «Возращение со звезд»? Бетризация удивительно преобразила мир, лишив человека способности не то чтобы совершить, а даже представить себе убийство другого живого существа. Но, искусственно устранив всякую опасность из жизни человека, общество бетризованных тем самым сделало бесполезными, не находящими применения величайшие духовные ценности, накопленные человечеством в борьбе со злом: мужество, благородство, способность к самопожертвованию, высокие чувства и смелые мечты. Люди живут без забот, наслаждаясь искусством, способным дать человеку иллюзию подлинного увлекательного путешествия, опасного приключения (ведь настоящих опасностей уже нет, да и путешествий тоже). И постепенно становится ясно, в какой глухой тупик загнано человечество, свернувшее с трудного, опасного, но величественного пути. Это не коммунизм, а торжество обывательских представлений о коммунизме: ешь, пей, наслаждайся — у тебя все права и никаких обязанностей. У такого общества не может быть будущего.

Нет будущего и у общества, описанного А. и Б. Стругацкими в повести «Второе нашествие марсиан». Герой повести — точнее, антигерой — донельзя доволен марсианами. Всё теперь в полном порядке: гангстеров нет, пенсию ему прибавят — ну, а то, что он превратился в домашнее животное с желудочным соком повышенной сортности, его вполне устраивает. Одно слово — мешанин...

Но остановимся...

В отличие от оххров, людям еще не поздно «заглянуть в себя и создать в себе мир добра, дружбы, веры в радость». В этом им активно помогает фантастика, пусть даже доказательством от противного. Чтобы никогда на нашей Земле не оказалась свободной вакансия на должность Человека!

**К. КИРЕЕВ,
г. Куйбышев**



ИНСТИТУТ ЧЕЛОВЕКА

**Станислав
ЗИГУНЕНКО**

*Рис. Дмитрия
Литвинова*

Помните, как в одном из рассказов Рея Брэдбери люди обращались в коконы? Потом, по прошествии инкубационного срока, они как бы рождались заново. Выдуплились из старой оболочки, внешне такие же — только новенькие и чистенькие, — а вот внутренне... Способности их становились совсем другими. Скажем, захотел и... полетел! Причем куда угодно — хоть на Марс, хоть в другую галактику...

«Нам бы так!» — наверно, такая мысль возникала не у одного читателя. А быть может, такие необыкновенные способности есть у каждого? Дремлют где-то, в уголке подсознания, не востребованные... А мы в это время кричим: «Даешь!» И даем. То одну

«стройку века», то другую. Крушим, перекраиваем, покоряем... Последние годы, правда, несколько поумерили свой пыл, стали задумываться: «А стоило ли так, с размаху?» Природа, она ведь не только стонет под тяжкими ударами горе-покорителей, но и научилась давать сдачи. Кислотные дожди, учатившиеся землетрясения, озонные дыры — они появились не просто так.

Каким путем идти? «Если уж что-то менять в этом мире, то давайте начнем изменения с самих себя», — так считают многие ученые. Причем не только сегодняшние. «Познай самого себя» — этой надписи на Дельфийском храме многие сотни лет. Много раз принимались люди за

эту работу, и всякий раз отступали, продвинувшись вперед совсем немного. «Самое трудное — познавать самого себя!» — это утверждение Фалеса Милетского не утратило актуальности.

И вот, похоже, новая попытка. Сбывается мечта М. Горького: в нашей стране организован Институт человека. Даже более того — Центр АН СССР «Науки о человеке».

Побывал я на пресс-конференции, посвященной этому событию. В своих размышлениях буду по мере надобности ссылаться на услышанные мною в ходе пресс-конференции высказывания медика — заведующего лабораторий Института медико-биологических исследований МЗ СССР



В. И. МАКАРОВА, физиолога — члена-корреспондента АН СССР, заместителя академика-секретаря отделения физиологии АН СССР В. И. МЕДВЕДЕВА, психолога — члена-корреспондента АН СССР, директора-распорядителя Центра АН СССР «Науки о человеке» В. П. ЗИНЧЕНКО, а также на сведения, почерпнутые в докладах, рефератах, книгах и прочих кладях научной мудрости.

— Наша главная задача — изучать поведение человека в экстремальных ситуациях, познавать его возможности, — начал свое выступление Владимир Иванович Макаров. — Это не только космическая медицина. Это и медицина, скажем, подводная, горная. Наши специалисты принимают участие не только в подготовке космонавтов, но и с акванавтами-глубоководниками занимаются, в штурме Джомолунгмы тоже принимали участие...

Казалось бы, какое отношение подобные исследования могут иметь к нам, обыкновенным людям? Мы вроде ни в космос не собираемся, ни на дно океана... Во-первых, экстремальные ситуации бывают у каждого: не случайно специалисты предупреждают — жизнь современного человека изобилует стрессами. Во-вторых, знания о закономерностях, подмеченных, скажем, в космосе, потом могут оказаться вполне применимы и на земле.

Вот только один пример. Понятие суток, как известно, в космосе весьма относительно, орбитальная станция или корабль совершают виток вокруг планеты где-то часа за полтора. Но космонавты все же стараются придерживаться земного, 24-часового ритма жизни, хотя «день» и «ночь» у них по разным причинам могут быть значительно смещены по сравнению с нашими. Скажем, если запуск состоялся ночью, то и в дальнейшем большая часть работы выполняется космонавтами в это время суток. Как им обеспечить максимальную работоспособность? Вопрос этот не столь прост, как может показаться сначала.

По словам Макарова, 80—85 процентов людей могут переходить из смены в смену без особых для себя последствий. Еще 10 процентам такие переходы даются с трудом, но в конце концов они все же приспособляются. А вот оставшиеся — группа риска. Их участие в многосменной работе всегда чревато авариями — эти люди могут попросту заснуть за пультом управления.

Учитывая ли кто эту группу риска при наборе на курсы машинистов, шоферов, водителей трамваев и трол-

лейбусов? Как правило, нет. А надо бы...

Да и людей из других групп очень неплохо бы научить правильному переходу от одного режима труда и отдыха к другому. Тем более, что правила перехода не так уж и сложны.

Человек, который переходит на ночной образ жизни, прежде всего должен не отсыпаться после работы, а спать перед нею. Причем в условиях, полностью имитирующих ночные — в затемненном помещении, при минимальном шуме. Конечно, трудно заставить себя после нормального ночного сна спать еще и во второй половине дня часов 6—8. Поэтому переход осуществляется постепенно, человек спит, сколько может. И уже через 3—4 дня, как показывает практика, начинает себя чувствовать на ночной работе вполне сносно.

Еще одна проблема: жалеть ли себя? Нет, не стоит, говорят сегодня многие специалисты. Человек создан с таким запасом прочности, что никакие перегрузки — конечно, в пределах разумного — ему не страшны. Так что вы можете смело «гореть» на работе — возможности перетрудиться в условиях вашего нынешнего производства практически нет. Это на практике доказывают кооператоры, интенсивность труда которых намного превышает обычный уровень, и ничто — люди вполне справляются.

Гораздо в большей степени, чем сам труд, на здоровье человека оказывают условия, в которых он трудится. О том, как действуют на работника излишний шум, пыльный воздух, грязь в цехе, тряска и вибрации в кабине — говорилось уже немало. С этими проблемами в основном разобрались, существуют санитарные нормы, которые надо выполнять. Ученые в настоящее время погружаются все глубже в познание особенностей адаптации организма к тем или иным внешним условиям.

— Я вообще-то специалист по биоритмам, — продолжал свой рассказ Макаров. — Ныне есть уже целая наука — хронобиология. Так вот, должен вам сказать, что человек во времени организован очень сложно. При проверке гипотезы трех ритмов мы пришли к выводу, что вообще-то она несостоятельна: зато взамен обнаружилось около 500 функций разной продолжительности, с периодами от полугода до нескольких секунд...

Все эти ритмы имеют под собой природную основу. Человек — дитя природы и по сей день продолжает реагировать на циклы Солнца и Луны, а также периоды обращения других планет. Так что, к слову сказать, астрологи не столь уж грешили против истины: расположение планет

действительно имеет на нас какое-то влияние. Однако в гораздо большей степени, чем природные причины, на нас последние десятилетия стали влиять факторы, связанные с производственной деятельностью. Как сказал Владимир Иванович, «все мы живем в ритме Останкино». И дело тут не только в том, что в некоторых регионах страны пришлось отменить местное время в связи с тем, что население, смотря передачи ЦТ, продолжало жить по расписанию московского часового пояса. Главная неприятность в том, что та же телевизионная трубка «фонит» в 50 раз сильнее, чем магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце. А ведь и магнитные бури, как показывает медицинская практика, оказывают значительное влияние на самочувствие людей с нарушениями сердечно-сосудистой системы, повышенной возбудимостью.

Так что, по нынешней жизни в пору интересоваться не только, сколько градусов на улице, но и сколько вольт. Только в этом случае, если мы будем принимать во внимание и искусственный электромагнитный фон планеты, можно надеяться, что «машина» нашего организма будет работать без сбоев и поломок.

А машина эта, согласно И. П. Павлову, весьма тонкая. «Человек есть, конечно, система (грубо говоря — машина), как и всякая другая в природе, подчиняющаяся неизбежным и единым для всей природы законам, — говорил великий русский физиолог. — Система, в горизонте нашего современного научного видения, единственная по высочайшему саморегулированию... Сама себя поддерживающая, восстанавливающая, поправляющая и даже совершенствующая... Все всегда может быть достигнуто, измениться к лучшему, лишь бы были осуществлены соответствующие условия».

Какие это условия? Про одно из них мы с вами только что говорили — обеспечение нормальной внешней среды. Что же касается других... Задумывались ли вы когда-нибудь, что заставляет двигаться, действовать нашу человеческую машину? Потребности! Они могут быть самыми различными. Одно двигает потребность побольше слопать, и он проявляет чудеса изворотливости по части «доставания» разного рода деликатесов — согласитесь, это не так просто в наше время талонов и пустых магазинных полок. Другой помнит и во времена дефицита, что «не хлебом единым жив человек», поднимает глаза и повыше кормушки.

Не знаю, как вам, лично мне при-



ятнее второй. О нем, в основном, и пойдет речь дальше.

— Потребность поесть и попить, — сказал на пресс-конференции Всеволод Иванович Медведев, — не есть формула личности. Личность прежде всего определяется потребностями духовными...

Конечно, такие суждения — не новость. С первых лет Советской власти мы стали прежде всего напирать на развитие именно этих потребностей. Поначалу как будто получалось неплохо: голодные и раздетые люди, тем не менее, подобно Нагульну из «Поднятой целины», учили иностранные языки, мечтали снести голову гидре всемирного империализма... Ну, а там, понятно, всех ждало светлое безоблачное будущее — коммунизм.

А что получилось на деле? Несколькими поколениями советских людей откладывали на «светлое будущее» исполнение самых насущных своих потребностей, а оно, это будущее, почему-то не приближалось. И мировая революция не состоялась, и лозунг «Догоним и перегоним» потихоньку сняли с повестки дня, и кодекс строителя коммунизма в укромный уголок спрятали... И были вынуждены взяться за перестройку.

Почему? Да потому что в суматохе свершений забыли о человеке, перестали обращать внимание на его насущные потребности, и такая забывчивость немедленно обернулась всевозможными перекосами. «Бытие определяет сознание», — говорил еще К. Маркс. И это бытие диктовало вопреки всем лозунгам: если ты не поставишь «мое» впереди «нашего» — останешься голодным. Потому что насильно обобществленный труд — поголовная коллективизация — все не дал обещанных молочных рек с кисельными берегами. На маленьком частном огородке и по сию пору урожай не в пример выше, чем на огромном колхозном поле.

Этот парадокс долго не хотели замечать. Вбухивали в землю миллионы и миллиарды, проводили химию и мелиорацию, а урожай практически не росли. И дело не только в том, что при «размахе саженем» трудно соизмерять усилия, а в итоге сплошь и рядом разрушалась природа: земли засорялись и выветривались, мелели реки и даже моря... Главное — забыли, что начинать-то нужно с экологии человека.

— Очень часто интересы человека и общества вступают в противоречие друг с другом, — продолжал Медведев. — Мысль сама по себе тоже не новая, об этом писал еще Фрейд. Наша ошибка заключается в другом: очень многие и сегодня полагают, что эти противоречия никогда не согласуются. А зря! Мы, физиологи, зна-

ем, что интересы индивидуума и общества могут совпадать...

Уравниловка во многих случаях привела к тому, что, скажем, два конструктора — труженик, без продыху работающий за кульманом и дисплеем, и лодырь, убивающий рабочее время на кроссворды и телефонные звонки по личному делу, — имеют разницу в зарплате в 10—20 рублей. И хорошо, если эта разница еще в пользу работающего.

Нивелировалась и оценка квалификации труда. В городском транспорте, например, нас возят «профессора» и «доценты», зарабатывающие по 350—500 рублей в месяц. Никто не спорит, работа их тяжела и физическая, и эмоционально. Но первоклассным водителем можно стать за несколько лет, и сделать это может каждый здоровый человек. А вот чтобы стать профессором, нужно не только иметь определенные способности и задатки, но и потратить не менее 15—20 лет напряженного труда на получение и совершенствование своих знаний. Поэтому, скажем, в США тот же профессор на свой месячный оклад может купить автобус.

У нас же шкала ценности труда сбита. Что заставляет тогда людей выбирать все же тернистый и нелегкий путь познания, предпочитая его верному и быстрому заработку? Почему все же не переводятся профессоры в нашей стране, а шоферов — дефицит? Оказывается, не только потребность человека в более интересной работе, но и желание приносить максимальную пользу обществу. Да, даже самый отъявленный эгоист все же не чужд альтруизма. Кроме того, в большей или меньшей степени все мы — конформисты.

Конформизм — некая зависимость действий отдельного индивидуума от суждений окружающего общества. Очень наглядно эту способность думающего существа показал сказочник Ханс Христиан Андерсен. Помните, майскому жуку так понравилась маленькая девочка, что он даже принес ее к себе домой, на дерево. Но вот когда другие майские жуки стали говорить, что Дюймовочка безобразна, поскольку у нее только две ножки и нет даже усиков, первый жук тоже изменил свое мнение.

Сказка, понятно, ложь, да в ней намек... Действительно, опыты психологов показывают: мы зависим от мнения окружающих в значительно большей степени, чем сами себе представляем. Причем, чтобы человек поддался давлению конформности, совсем не обязательно, чтобы группа, коллектив высказывались при нем — достаточно и предполагаемого заочного суждения. Конечно, авторитеты для разных слоев общества свои: «что

скажет княгиня Марья Алексевна» в высшем свете имеет такой же вес, как и слово «пахана» для вора в законе.

— Эту действенную силу наше общество долгое время использовало неправильно, — считает психолог Владимир Петрович Зинченко. — Психологические оценки тоже были смещены...

Вспомните хотя бы, кого клеймили прозвищем «враг народа»? Как сегодня выясняется — лучших представителей общества. Психология шпионмании, всеобщего доносительства, слепого исполнения даже нелепых приказов, спускаемых «сверху» — все это долгое время сковывало творческие силы общества. Сегодня мы с вами знаем, сколько талантливых голов недосчитываемся из-за культа личности. Экономисты Чайнов и Кондратьев, литераторы Мандельштам и Бабель, военачальники Блюхер и Тухачевский... Но узнаем ли мы хоть когда-то, сколько потенциальных талантов не расцвели, сколько людей скрыли свои способности, подчиняясь трамвайному правилу «не высовываться»? Кто посчитает потери, нанесенные командно-административными методами управления генетике, кибернетике, другим отраслям науки и народного хозяйства?

Весь мир смеялся над нами, когда мы с упорством, достойным лучшего применения, насаждали в сельском хозяйстве лысенковщину, перерождали реки бесчисленными ГЭС, прокладывали сотнекилометровые и, как теперь выясняется, никому не нужные каналы... Делали, а потом думали. Думать своевременно было некому...

Вообще-то, конечно, человеку свойственно ошибаться, а потом извлекать уроки из совершенных ошибок. Однако умные тем и отличаются от дураков, что учатся на чужих ошибках, а не только на своих собственных. Так, быть может, хватит ошибок, пора делать выводы?

В немалой степени этому должен послужить распространяющийся в последнее время плюрализм мнений. Время единогогласного голосования, похоже, прошло.

Истина, как известно, не подчиняется правилу большинства, и даже эксперимент далеко не всегда способствует ее однозначному установлению. Любое противоречие может быть позитивно. Надо искать альтернативные варианты и уметь извлекать из них пользу.

— Не секрет, — говорил Зинченко, — что сегодня многие попросту не хотят работать в полную силу. И заставить человека «выкладываться» на производстве в условиях нашей страны не так-то просто...

Капиталистам, как мы считали



долгое время, в этом смысле проще: страх оказаться за воротами, пополнить ряды безработных заставляет человека работать прилежно. Но в одном ли страхе дело? Печальный опыт, накопленный нашей собственной страной, заставляет усомниться в этом. Оказавшись во времена сталинщины на одном из островов «архипелага ГУЛАГ», человек на себе самом познавал жесткую действительность лозунга: «Кто не работает, тот не ест» — не выполнявшим дневную норму урезали и дневные пайки. И все же сегодня можно сказать совершенно определенно: труд заключенных, как и труд рабов в Древнем Риме, наименее производительен среди всех других видов труда.

«Лучше всего заинтересовать человека работой, разбудить в нем азарт,— считают ученые сегодня.— Одно это без всяких дополнительных усилий способно повысить производительность труда в 3—5 раз...» Парадокс? Ведь еще недавно мы считали азарт чем-то недостойным социалистического бытия, чувством, свойственным разве что картежникам. Однако жизнь вносит свои коррективы, заставляет смотреть на общеизвестные вещи иными глазами.

— Разбудить, использовать потенциальные возможности каждого — вот наши шаги к созданию «хомо советикус», вот лозунг сегодняшнего дня,— полагает Зинченко.

Способов для этого много. Интенсивное обучение, материальные стимулы, работа не на план, а на конечный результат... Но главное, нужно поменять психологию социалистического труженика. Нужно, чтобы человек действительно чувствовал себя хозяином на своей земле, в своей стране. А то мы об этом лишь песни пели, а на деле «социалистический реализм» намного отличался от социальной реальности, как сказал один критик.

В самом деле, вспомните, как происходит «сшибка» личного и общественного — собственного мнения и приказа сверху — в сознании главного героя романа А. Бека «Новое назначение». Сшибка эта, в конце концов, и привела к гибели Овсянникова.

Думаете, положение намного изменилось в последние годы? «Хозяева не бастуют!» — категорично заявил, выступая недавно, один из народных депутатов. Именно социальное бесправие работников угольной промышленности и других отраслей народного хозяйства — именно тех, от кого в первую очередь зависит, быть нашей стране богатой или бедной — привело к тому, что настоящих хозяев сегодня надо искать днем с огнем. Что сеять и когда убирать, где

город заложить и как АЭС построить — все это решалось, да и сейчас еще решается в тиши ведомственных кабинетов. А итог? После семидесяти лет Советской власти мы все еще решаем продовольственную проблему, после многих пятилеток ударного труда оказались по жизненному уровню где-то наравне с развивающимися странами бывшей колониальной Африки... Да сказать бы об этом штурмовавшим в семнадцатом Зимний, не поверили бы! А то и пристрелили б, как контру, за распространение нелепых слухов, порочащих Советскую власть!

Но они — эти «слухи» — суть нашей сегодняшней жизни. И потому, затеявая новую революцию, ведя перестройку не только народного хозяйства, но и всего общества, партия призывает на помощь науку.

— Быть или не быть «хомо советикус» вообще во многом зависит от того, насколько глубоко мы, ученые, разберемся в проблемах сегодняшнего дня, наметив правильные вехи для шагов в будущее.— подвели итог своих выступлений участники пресс-конференции. Нас всех сейчас давит наследие сталинщины, не изжитая психология застоя. Нужно выдавливать из себя раба. И не по каплям, как это делал Чехов, а большими порциями. Иначе и в XXI веке мы останемся на тех же позициях, что и сейчас, а возможно, и худших...

Как я ни старался удержать в узде свои мысли, направляя их в узкое русло рассуждений о природе человеческой, как ни пытался выступавшие на пресс-конференции придерживаться рамок дискуссии о проблемах нового научного центра, разговор разворачивался все шире, то и дело принимал размах общепланетарный и общечеловеческий.

Впрочем, это и понятно. Сегодня экологическая обстановка на планете резко обострилась. По сути, речь идет уже о выживании человечества. Сегодня экологическое равновесие настолько нарушено, что химические выбросы цивилизации приводят к ускоренным мутациям — среди живых клеток появляются и смертельно опасные для организма. В частности, в человеческое общество пришел вирус СПИДа, порожденный, как полагают некоторые ученые, мутациями, которые произошли в результате выброса в атмосферу продуктов ядерных и термоядерных реакций. Ведь еще недавно испытания образцов нового оружия проводились не только под землей, но и на ее поверхности, а также в атмосфере.

Так смыкаются глобальные про-

блемы экологии и жизни самого человека.

— Экологические проблемы, как теперь ясно, это прежде всего социальные проблемы,— сказал президент научного Центра «Науки о человеке» академик Иван Тимофеевич Фролов.— А потому социальные мероприятия должны быть в основе экологических решений...

Вот как все тесно связано в современном мире. Потому-то организаторы нового научного центра и отказались от первоначальной мысли просто создать Институт человека. Дело в таком случае скорее всего светлос было бы к открытию еще одного НИИ медико-биологического профиля. Но этого ведь мало. Сегодня мы должны в первую очередь учитывать социально-экологические аспекты жизни индивидуума и всего общества в целом. Человек сосуществует не только с себе подобными, но и со всей Вселенной.

Поэтому чисто технологическая работа нового центра будет строиться так. Для решения какой-либо комплексной проблемы будут подключаться ученые и специалисты различного профиля и, возможно, даже разных стран. В рамках центра они образуют временный творческий коллектив, который и будет решать проблему, совмещая самые различные подходы. По минованию надобности такой коллектив распадется, а взамен ему будет создан новый, для решения уже другой задачи.

...Когда-нибудь, возможно, специалисты соберутся вместе и для обсуждения проблемы — «хомо галактикус». Пройдет положенное время, он покинет свой кокон, глубоко вздохнет, расправит плечи и взлетит так высоко, что нам отсюда и не увидеть. Доброго тебе пути, житель Вселенной!





*К. А. Клодт (третий слева во втором ряду) среди рабочих и служащих Каслинского завода. 1926 г.
К. А. Клодт с дочерью Ниной и сыном Петром.
Снимки публикуются впервые. Фото из архива автора.*

**Инна
ПЕШКОВА**

НИЧЕГО, КРОМЕ ТРАВЫ...

КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ КЛОДТ... БЕЗ ЭТОГО ИМЕНИ НЕВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ 20-Е ГОДЫ В ЖИЗНИ ЗНАМЕНИТЫХ КАСЛЕЙ. ЭТО ОН, ЗАВОДСКОЙ СКУЛЬПТОР, СДЕЛАЛ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ ИСКУССТВА САМЫЕ РАСХОЖИЕ БЫТОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ, ПЕРВЫЙ ВОПЛОТИЛ В УРАЛЬСКОМ ЧУГУНЕ ОБРАЗ ИЛЬЧИ. ПОТОМСТВЕННЫЙ АРИСТОКРАТ, «БАРИН» ВОЛЕЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ СТАЛ «РАБОЧЕЙ КОСТОЧКОЙ» КАСЛЕЙ, КОТОРЫМ ОКАЗАЛИСЬ НУЖНЫ ЕГО УМ И ЗНАНИЯ.

В ПЕЧАТИ О НЕМ — СЧИТАННЫЕ СТРОКИ. ГОЛУБАЯ КРОВЬ... КАК ЖЕ ДОЛГО МЫ ПОВИНОВАЛИСЬ СТЕРЕОТИПАМ ОЦЕНОК ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИНАДЛЕЖАЛИ К ЭТОЙ КАСТЕ. СЕГОДНЯ, ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ПРОШЛОЕ, МНОГОЕ ВИДИТСЯ ЯСНЕЕ. ТОЛЬКО КТО ОПРЕДЕЛИТ СЕЙЧАС, ВО ЧТО ОБОШЛАСЬ ЭТА ЛЕНИВАЯ ПРИВЫЧКА ЗАГОНЯТЬ МЫСЛЬ В ЗАРАНЕЕ ОТВЕДЕННЫЙ ОТСЕК?

...Он был внуком российского скульптора, члена четырех Академий художеств — Петербурга, Берлина, Рима и Парижа — Петра Карловича Клодта, сыном дочери Клодта Веры. Его полное имя и титул, как и у деда, потомка именитых шведов, — барон Константин Александрович Клодт фон Юргенсбург.

Его день рождения... Пожалуй, имел значение не день, но именно год рождения, ибо время рождения и смерти на этот раз совпало, не допустив гибели ветви рода. Внук Костя родился в год смерти Петра Карловича Клодта, в 1867-м...

«Это произошло в небольшом поместье Орловской губернии весенним мартовским днем, 5-го числа. Случилось так, что, получив за выполнение заказа довольно крупную сумму денег, Петр Карлович решил купить каждому из детей по имению. Дочери Вере досталось на Орловщине, где и родился сын Константин...»

Так утверждают воспоминания. Пока я не стану комментировать их, чтобы не разорвать нить, единственную, путеводную, которую через много-много лет мне помогла увидеть дочь Константина Александровича — Нина. Продолжу услышанный рассказ.

«О своей бабушке я уже сказала. Отцом же Константина Александровича был Александр Константинович Клодт, сын русского гравера Константина Карловича Клодта (отец и мать были двоюродные брат и сестра).

Вскоре за долги поместье было продано, и семья пере-

ехала в Минск, где дед поступил служить в акциз и вскоре умер. Семья осталась без всяких средств к жизни. Константину было тогда три года, сестре Софье всего годик. У мамы (т. е. Веры — *И. П.*) кроме них было еще двое сыновей — Николай и Евгений.

Продав кое-какие вещи, двоя с четырьмя детьми уезжает в Москву, снимает квартиру в Замоскворечье. Прирабатывает на жизнь рукоделем и изготовлением искусственных цветов. Образование детям мать дать не могла, но тут на помощь пришли художники и устроили трех мальчиков на казенный счет в Московское художественное училище ваяния и зодчества. Константин стал учиться по классу скульптуры.

А далее я располагаю документом-аттестатом, выданным ученику скульптурного отделения Клодту фон Юргенсбургу. Диплом сей с приложением казенной декабря 28 дня 1892 года печати свидетельствует, что он с успехом окончил полный курс наук училища и потому оно «признало Клодта классным художником скульптуры с предоставлением ему по сему званию права на чин 14-го класса».

Учился Константин хорошо, и многие зачетные работы его были премированы большими и малыми серебряными медалями, а эскиз к гоголевскому «Тарасу Бульбе» отмечен золотой медалью и поездкой в Италию на три года за казенный счет.

Однако, прежде чем окунуться в эту памятную на всю жизнь поездку, давшую скульптору так много, хочется возвратиться к истокам. К тому, что позволило увидеть однажды панораму жизни художника. Разрозненные эпизоды жизни приходилось искать и собирать вслепую, ибо Касли сегодня были плохим помощником. Не сохранились заводские архивы, ушли из жизни те, кто работал рядом, нигде было узнать о родных, чья память и семейные реликвии не раз доказывали свою незаменимость.

И вот — письмо. Оно пришло из Оренбурга и уведомило, что в доме семьи Ивановых по улице Красноармейской я «смогу кое-что узнать о Клодте».

Я полетела в Оренбург и, приземлившись, буквально с первых минут, что называется, захлебнулась от невозможности вместить в себя новые впечатления. Ибо встретила меня в аэропорту Татьяна Петровна Иванова, правнучка знаменитого Клодта и внучатая племянница «каслинского» Клодта, поскольку ее отец, Петр Степанович Иванов, и дочь Клодта Нина Константиновна были двоюродные брат и сестра.

Самого Петра Степановича уже не было в живых, но жена его, Татьяна Семеновна, щедро предоставила в мое распоряжение семейный архив. В доме свято берегли память и тот огонек незабвения, который согревал всякого, кто приближался к нему.

— Посмотрите внимательно, — неторопливо объяснила Татьяна Семеновна, — на этой фотографии сразу несколько поколений Клодтов: в первом ряду наш прадедушка, известный скульптор Петр Карлович, с ним рядом две его внучки и их мать, т. е. старшая дочь Петра Карловича — Мария. Во втором ряду — дочь Вера, наша бабушка; брат Петра Карловича — Константин Карлович. Еще одна дочь — Наташа, а рядом ее брат Михаил — художник-жанрист. В третьем — дочь Софья и сын Александр, а с трубой — зять Петра Карловича — муж дочери Марии Петровны — Александр Михайлович Станюкович, брат известного писателя морских рассказов...

В семье Ивановых я узнала, что дочь Клодта — Нина Константиновна — жива и что найти ее можно в Риге...

Татьяна Семеновна прорисовывала все новые ветви родового древа, а мне впервые наглядно раскрылась одна: будущий скульптор Каслей был внуком знаменитого Клодта, а не просто родственником, как утверждали иные публикации, и одно это позволяло по-новому увидеть преемственность таланта.

Там, в доме на Красноармейской, я впервые прочитала биографию Константина Александровича, написанную его дочерью Ниной. Других попыток не предпринимал никто. Строчки о поездке в Италию тоже оттуда. Но они-то как раз не были одиноки. Эту поездку разделил с Клодтом

тоже выпускник училища, скульптор Сергей Конёнков и слубликовал воспоминания о ней.

«Весной 1896 года мне сообщили приятную новость: совет училища решил послать меня и Константина Клодта за границу. Цель поездки — ознакомление с художественной жизнью, музеями и памятниками Европы. Средства на это путешествие составили проценты с капитала, пожертвованного П. М. Третьяковым, специально предназначенные на посылку лучших за пятилетие учеников в Европу».

Поездка оставила след на всю жизнь. Берлин, Дрезден, Париж, солнечная Италия. Конёнков писал не только о себе. «Рим, Рим — благословенный город, — утром, днем, вечером напевали мы с Костей Клодтом, открывая для себя несметные культурные богатства итальянской столицы. Посмотрели римские раскопки, восхитились грандиозностью Колизея и монументальным величием колонны Трояна. Узнали, что в Риме есть знаменитая на весь мир библиотека, где хранится уникальное собрание античных флиантов. Побывали там. Наконец, сняли собственные студии вдоль терре дель Пополе и некоторое время, пока позволяли средства, лепили с натуры».

Никогда потом не переживал ничего подобного в своей жизни Константин Клодт. По возвращении в Москву его ждала работа на фабрике золотых и серебряных вещей Фаберже. Сам Клодт вспоминал об этом времени редко, но и забыть не мог: он засорил глаз серебряной стружкой, которая мешала ему до конца дней.

А судьба уже все рассчитала в его жизни и всему воздала полной мерой — определенности выбора, неожиданности разочарований, невосполнимости потерь.

В 1898 году вместе с матерью и сестрой Клодт уезжает работать в Пензу. Работа, любовь, дети — все будет отныне связано у него с этим городом. Включая самое страшное — смерть близких и тягостное чувство ненужности своей, когда, казалось, все кончено и ничего уже не ждет впереди... Но тогда, приняв предложение Константина Аполлоновича Савицкого, только что назначенного директором Пензенского художественного училища, Клодт видел перед собой только первые зримые дали. Место преподавателя в училище, казенная квартира, общение с художниками — все это вносило в жизнь определенность и смысл. Работа отнимала много времени. По утрам Клодт вел класс скульптуры, а вечером — рисунка. Практические работы с керамикой нередко захватывали и ночь, когда обжигали изделия.

В училище встретил Константин Александрович и свою супругу — ученицу Тамару Харитонову, экстравагантную дочь полковника. Через год они обвенчались, а в 1900-м в семье появился первенец — дочь Нина.

В городе о нем уже были наслышаны, предлагали заказы. Дом местного купца Вярвельского украсили массивные львиные головы с кольцами во рту, которые вылепил Клодт, а зал крестьянского банка — его лепные орнаменты.

Заказы приходились кстати, ибо семья росла, а он был единственным кормильцем, получая ежемесячно 99 рублей. Жена сразу после замужества оставила учебу и о работе не помышляла. Став «баронессой» и стало быть — дамой света, она больше всего начала заботиться о себе. Мужу приходилось оплачивать счета за наряды, в которых мадам Клодт себе не отказывала. В доме стало хронически не хватать денег. Поэтому солидное предложение из столицы стало предметом домашних разговоров. Через много лет Нина Константиновна напишет о том, что знала: «Отец лепил фигуры коней по заказу г. Москвы для ее ипподрома. Лепил эти скульптуры в Пензе, во дворе, когда приводили к нему коня и его укротителя. Это было в 1900-х годах...». Рассказывали также, что Константин Александрович был причастен к исполнению знаменитой квадриги на фронтоне Большого театра.

У Клодта было уже трое детей — Нина, Павлик и Петя. Все не лишены были одаренности, и все же Павлик казался способнее других. Он был особой родительской гордостью и надеждой. Неожиданно беда, переступившая порог дома, отнимает эту надежду. В 1915 году Павлик заразился тифом, и спасти его не удалось.

Похоронили Павлика в единственном костюмчике, в котором он ходил постоянно. И Нина слышала, как однажды отец сказал, отчаявшись: «Ах, зачем мне это баронство! Хотя бы нашелся кто-нибудь, чтобы его купил!» Любая возможность забыться в работе была в эти дни спасительной и желанной.

Дочь вспоминает, что отец всегда сочувствовал тем, кому приходилось туго. Двое немущих учащихся жили в его скульптурной мастерской. Это запрещалось, но Константин Александрович очень их жалел и помогал, чем мог. Часто они ужинали вместе тем, что Клодт приносил из дома.

Вскоре события круто изменили жизнь училища и его преподавателей. Вторжением нового, ожиданием перемен, несправедливостью, так незаслуженно задевшей Клодта, запомнились дни 1917 — 1918 годов.

Из дневниковых записей Нины Константиновны:

«В 1917-м, после свержения царя, в школе начались волнения. Ученики собирались группами, спорили и митинговали. По вечерам почти ежедневно проходили собрания. Вернулся из ссылки бывший ученик Васильев. Он часто навещал отца и, сидя у натопленной печки, они могли разговаривать часами.

В училище все меньше оставалось учеников. Время наступало беспокойное. Запомнилось, как группа учеников вместе с Васильевым начала готовиться к первой годовщине Октября. Расположились в здании бывшего кинотеатра «Кинема», писали плакаты, лозунги на белых полотнах (красного материала не было), панно с изображением революционных сцен. Я и мой брат Петр вставали в 6 утра и до 8—9 вечера с перерывом на час работали с этой группой учеников... А когда утром шли домой — видели, как уже несли наши плакаты и лозунги в строю.

После мы получили хороший паек за свою работу и деньги. Радость была для всей нашей семьи большой».

Не один вечер провела я в гостеприимном рижском доме Нины Константиновны. Бесценные подробности хранила и отдавала ее память.

Весной в училище появился скульптор-кубист Давид Равдель. Претендуя на авторитет и лидерство нового искусства, он потребовал увольнения группы старых преподавателей, а Клодта — в числе первых, как представителя «чуждого класса». До конца дней жгла потом душу короткая справка, выданная директором училища Петровым: «К. А. Клодт поступил в 1898 г. и работал до 1922 включительно...» Она была написана на крохотном клочке бумаги, словно сочинивший ее старался незаметнее изложить суть, которая содержала приговор...

Дочь свидетельствует: «Отец очень переживал свое изгнание со службы. Он был просто потрясен случившимся и на некоторое время лишен движения на нервной почве... А самое страшное, что он оборвался до того, что не имел брюк, и пришлось сшить их из пледа. Куда он мог пойти в таком виде?»

Вот когда пригодилась дочери склонность к рисованию и навыки, которые дало недолгое время учебы!

У Клодта было единственное пальто (черный шевит с небольшим воротником). Теперь оно сослужило новую службу. Из него выдергивали вату, делали фитильки и, наливая в посудину олеонавт, прежде служивший для формовки, зажигали. При таком освещении Нина по вечерам расписывала брошки. Небольшой картон обтягивался кусочком шелка, а на него акварельной кисточкой наносились головы или фигуры зверей, цветы. Брошки пользовались спросом, мать нередко выменивала на них хлеб.

В это время были распроданы и многочисленные керамические вазы, образцы которых Константин Александрович намеревался оставить на память. Даже мебель шла в обмен на муку, пшено и картофель.

Как же мучительно долго тянулся 1922-й год!

Неожиданным избавлением явилось письмо. Его прислал бывший формовщик училища Павел Викторович Серегин. Сколько часов они провели вместе у муфельной печи в пору увлечения Клодта керамикой, как хорошо понимали друг друга! Серегин писал: «Я слышал — вы без работы,

а я живу на Урале. Есть тут на заводе в Каслях художественный цех, есть работа. Если хотите — приезжайте».

Клодт поехал не раздумывая и пробыл в Каслях месяц. Из его письма семья узнала, что ему дали квартиру — «в доме Курочкиных, на втором этаже» и что он намерен подумать о переезде всерьез.

К намерениям главы семейства присоединился и сын. Со сборами не тянули. Дочь Нина оставалась в Пензе: она вышла замуж и ждала ребенка.

Чтобы устоять перед уральскими холодами, еще в Пензе приобрели для каждого стеганные на вате жилеты и теплые, внушительных размеров заячьи шапки. Константин Александрович один в такой шапке на публикуемом снимке.

Касли удивили Клодтов разливом озер, хвойным настом леса, тишиной улиц, наглухо застегнутыми по вечерам воротами домов...

Клодту дали работу. Сохранились расчетные книжки. В первой написано коротко и невнятно: принят в цех управления завода 13 сентября 1923 года. Через год и четыре месяца запись иная: принят на должность скульптора в школу фабзавуча. В третьей книжке — свидетельство о том, что Клодт является скульптором при техническом отделе Каслинского чугунолитейного завода. Книжки помогают почувствовать время: «Удержано в МОПР — 43 коп., на газеты — 70 коп., в помощь ленинградским рабочим — 1-72 за очки для занятий +5 — по расценкам...»

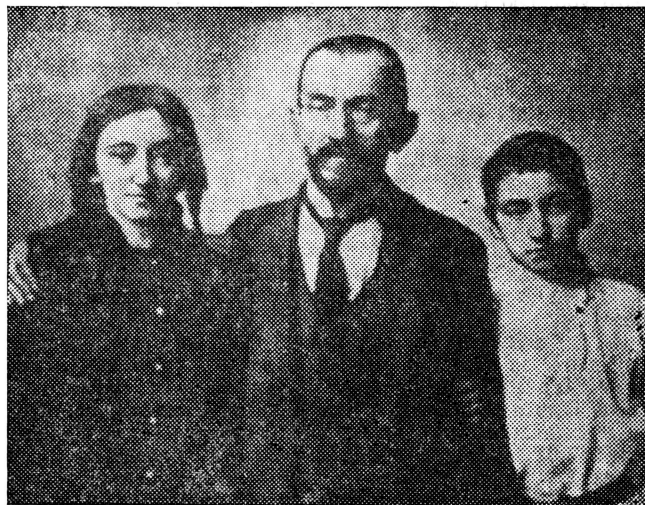
В Каслях, не сравнимых с полуголодной Пензой, можно было жить сыто и спокойно. Почти не торговали магазинны, зато завод производил расчеты натурой, что также не утаили расчетные книжки: 24 января 1924 года Клодту было выдано муки 3 пуда, 27 февраля — 3 пуда 20 фунтов и т. д.

В письме к дочери Клодт по заслугам оценит свое новое существование. «Живем мы вполне обеспечено. О квартире, дровах, ржаной муке, соли, пшене не беспокоимся, этого получаем больше, чем нужно. Мука и соль идут в обмен на молоко, рыбу, стирку белья и другие услуги...

Нам обещали сделать русскую печку. Мы до сих пор пекли хлеб в плите, что очень утомительно, т. к. приходится печь каждый день, да и печется плохо... Кроме этого коптитесь очень квартира.

Сейчас сезон запастись картошкой и овощи, т. к. идет взнос продукта, и крестьяне везут на базар. Я, связанный службой, могу идти на базар только очень рано, т. к. к 8-ми должен быть на заводе. Мать, конечно, в этом бесполезный человек...

Здесь, когда наступает осень с дождями и холодом, нужны сапоги. Калоши не спасают, да и пальто переделано на пиджак за негодностью. Хорошо бы, конечно, купить



овчины и отдать шить. Готового здесь ничего нет, даже чулок.

Было бы хорошо, если бы и вы были здесь...»

Забота о дочери — постоянная тема его писем.

«Дорогая Ниночка!

Твоя теперешняя жизнь очень меня терзает, и каждое твое письмо вгоняет в уныние. Ты пишешь, что сидишь без денег, кругом должна, а я больше, как 5 рублей, не могу послать в настоящее время. Получишь через 5 дней, если мать пойдет отправлять, я же занят спешной работой целый день и ни на минуту не могу отлучиться...»

Словами «не могу отлучиться» сказано много: работа снова заняла в жизни Клодта подобающее ей место.

Скульптор предложил несколько моделей, и завод начал отливать их. Журналист М. Е. Репин рассказывает об этом в своей книге: «Зажигалка «Ножка», подставка для карандашей «Футбол», ножик «Пионер», бюст В. И. Ленина — таков сравнительно небольшой перечень работ К. А. Клодта для Каслинского завода. Но его работа далеко этим не ограничивалась. На завод присылали гипсовые статуэтки и бюсты Ленина, Маркса, Энгельса, Дзержинского. Статуэтки были грубоваты, но пока нет лучших, нужно было исправлять их и пробовать, как они выйдут в чугуна. Исправлял К. А. Клодт и статуэтку «Шахтер», которая и теперь считается одной из лучших каслинских вещей¹.

Завод в первые годы НЭПа выпускал в больших количествах печные приборы. Скульптур не брезговал черновой работой и делал около полутора десятков новых рисунков для этих изделий.

Но особенно Касли вдохновляли сына. В школе ФЗО молодой Клодт стал вести уроки рисунка, в заводском клубе писал декорации к спектаклям, в которых играл сам. Он все умел и везде успевал — шил себе и товарищам костюмы для сцены, играл в клубном духовом оркестре, учился пению — у него оказался хороший голос.

Наслаждение жизнью, наполненность ее, упоение молодостью — все это выплескивается через край в каждом письме к сестре.

«Нина! Отвечай сейчас же! Жду обещанных пьес (конечно, если таковые найдутся в магазинах). Я вот уже три месяца как беру уроки у «спеца», учителя пения, артиста Томской оперной труппы В. Лепунова. Три месяца занимался одними упражнениями, теперь уже пою разное. У меня баритон. В прошлый четверг ставили оперетку «Иванов Павел», я играл географа, провел на «бис». После был концерт, где я выступал, пел арию тореадора из «Кармен», вызывали, имел огромный успех.

Кругом озера — прелесть. А самое главное — нет нужды...»

«При театре состою в труппе на амплуа комика и имею свою уборную (все равно, как какой-нибудь Юратов)».

«Скоро поеду в Екатеринбург делать доклад в райкоме металлистов о положении школы...»

«Каждый день хожу по заводу, смотрю, как формуют, как чеканят, токарные работы. Очень интересно...»

«Нахожусь все время среди рабочих, делаю с них наброски. Если бы ты меня увидела, то не узнала бы, так я изменился, повзрослел...»

Клодт видел настроение сына, радовался за него. Энергия новой жизни, стремление к действию захватили и его тоже. Это видно даже по самой прозаической его работе — рельефам к печным дверкам и заслонкам, которые тоже отличал его собственный почерк.

И вдруг — несчастье, невосполнимая потеря, конец всему.

Все, что случилось, вместило в себя короткое газетное сообщение за 1924 год: «18-го ноября в Каслях проходили первые гражданские похороны умершего от скарлатины члена Союза металлистов, преподавателя школы фабзавуча и активного члена клуба, беспартийного П. К. Клодта. Клодт пользовался большой любовью и уважением среди рабочих, а поэтому на похоронах большое участие приняли рабочие и служащие завода, другие организации и мест-

¹ М. Е. Репин. Касли. Челябинск. 1940 г.

ные граждане. Под похоронный марш было произнесено много трогательных надгробных речей.

Со смертью Клодта клуб потерял хорошего артиста и художника, Клодту было только 19 лет...»

Тяжело перенес Константин Александрович этот новый удар. Мысли снова и снова возвращали его к тому, что случилось, не давали покоя мучительными и беспокойными думами. А повседневная жизнь, казалось, хотела доконать его назойливой унылостью житейских проблем.

Из писем 1925—28 годов:

«...Здесь служба хотя и выгодна в материальном смысле, но не прочна. Если дела завода ухудшатся, то, конечно, не стану входить в положение, а выкинут за борт и дело с концом. Вчера было собрание, приехал председатель треста и объявил рабочим и служащим, что денег не будет два или три месяца... Если у вас найдется возможность — вышлите мне соды фунт или два (давняя болезнь — язва желудка — заставляла его помнить о соде. — И. П.)»

«На этот раз пишу немного, т. к. много работаю и устаю. На заводе затеяли производство мясорубки, и мне пришлось делать модели всех частей».

Боль подтачивала здоровье и душу, хотя внешне Клодт был подтянут и обязателен, как всегда. Когда подоспела новая работа — начал действовать цех эмальпосуды, он внес в нее свою лепту художника.

Цех выпускал небольшие чугунные тарелочки, покрытые расписной эмалью. На белое эмалевое поле наносился рисунок: цапля, застывшая в камышах, домашние птицы, грациозно замерший олень... Скульптору нравилась эта работа, он даже дополнил рисунок надписью по кругу: «Эмальлаборатория. Касли. Рис К. Клодт. 15-го июля 1927 г.»

Здоровье, между тем, оставляло желать лучшего. Тамара Константиновна не без раздражения писала дочери: «Отец так постарел и стал дряхл. Все роняет. Перебита почти вся посуда. Можно подумать, что все делает на зло...»

Клодту в это время шел всего 61-й год.

Днем 24-го августа 1928 года жена торопливо доверила почте уже непридуманную тревогу:

«Нина! У нас с тобой горе. Папа заболел. Желудочная схватка такая, что он почернел. Заболел как-то сразу. Еще нет часа, как папу отвезли в больницу. Горе для меня такое, что не могу сказать, Боже мой! Нина, выезжай или научи, как быть. Считаю часы и минуты...»

Но Клодту уже не могли помочь ни участие дочери, ни срочная операция. Прободная язва стала последним приговором врачей. В последние минуты жизни, тоскуя о дочери, Константин Александрович сказал жене: «Я, наверное, умру. Нина пусть не переживает. Я избавлюсь от этих мучений». Но 27-го августа, раньше этих отцовских слов, Нину нашла телеграмма: «Папа скончался. Тамара Клодт».

Потерянная, не воспринимающая реальности того, что случилось, Тамара Константиновна даже не облачилась в траур на похороны. Ее белое платье рядом с закрытым гробом на чистой рогоже телеги выглядело неуместно и нелепо.

Недавно мне показали письмо Нины Константиновны родным, в котором невольно увиделся итог жизни: «Отец похоронен в Каслях, и на его могиле нет ничего, кроме травы и небольшого чугунного венка от завода...»

Я приняла горечь этих слов, но что-то мешало согласиться с ними. Разве трава умирает? Она ведь только уходит от нас на время, чтобы, собрав силы, опять служить жизни каждой весной.

С зеленого холма травы, словно с первой ступеньки своей, поднимается обелиск, на котором начертано имя.

Его знает не только земля старого кладбища.

Барон Константин Александрович Клодт фон Юргенбург был и остается первым скульптором советского Каслинского завода, и заменить его в этом звании никому невозможно.



Эдгар БЕРРОУЗ

*Рисунки
Елены Пьянковой,
Николая Мооса*

Обезьяны

В лесу на плоскогорье, в одной миле от океана, старый Керчак, глава обезьяньего племени, рычал и метался в припадке бешенства.

Более молодые и проворные обезьяны вобрались на самые высокие и тонкие ветви гигантских деревьев, готовые в любую минуту обломиться под их тяжестью. Они предпочитали рисковать жизнью, но держаться подалеже от старого Керчака во время его припадка неукротимой ярости.

Другие самцы разбежались по всем направлениям. Вzbешенное животное успело переломить позвонки одному из них своими громадными, забрызганными пеной клыками.

Несчастливая молодая самка сорвалась с высокой ветки и свалилась на землю к ногам Керчака.

Он бросился к ней с диким воплем, схватил сломанный сук и принялся злобно бить ее по голове и плечам, пока не разможил череп.

Продолжение. Начало в № 4

И тогда он увидел Калу. Возвращаясь со своим детенышем после поисков пищи, она не знала о настроении могучего самца. Внезапно раздавшиеся пронзительные предостерегающие крики ее соплеменников заставили Калу искать спасения в безоглядном бегстве. Керчак бросился за ней и едва не схватил за ногу. Кала совершила единственное, что ей оставалось — опасный отчаянный прыжок, который обезьяны делают, не видя другого выхода.

Перелетев через бездну, она ухватилась за ветку соседнего дерева, но внезапный толчок сорвал висевшего на ее шее детеныша, и бедное существо, вертясь и извиваясь, полетело на землю с высоты тридцати футов. С тихим стоном, забыв о страшном Керчаке, бросилась Кала к нему. Но когда она прижала к груди крохотное изуродованное тельце, жизнь уже оставила его.

Она сидела печально, качая маленькую обезьяну, и Керчак уже не пытался ее схватить. Со смертью детеныша припадок демонического бешенства прошел у него так же внезапно, как и начался.

Керчак — огромный обезьяний царь, весом, примерно, в триста пятьдесят фунтов. Лоб у него был низкий и покатый, глаза налиты кровью, очень маленькие и близко посаженные у широкого плоского носа; уши широкие и тонкие. Свирепый нрав и могучая сила двадцатилетнего самца сделали его властелином маленького племени. Теперь, когда он достиг полного расцвета сил, на огромной территории джунглей не было обезьяны, которая осмелилась бы оспаривать у него право на власть. Другие крупные звери тоже не тревожили его. Один только старый слон Тантор не боялся его — и его одного лишь боялся Керчак. Когда Тантор трубил, большая обезьяна забиралась со своими соплеменниками на вторую террасу деревьев.

Племя антропоидов, в котором, благодаря своим железным лапам и оскаленным клыкам, властвовал Керчак, насчитывало около восьми семейств. Каждое из них состояло из взрослого самца с женами и детенышами. Всего в племени было от шестидесяти до семидесяти обезьян.

Кала была младшей женой самца Тублата, и детеныш, который насмерть разбился у нее на глазах, был их первенцем. Ей самой было всего девять или десять лет. Несмотря на молодость, это было крупное, сильное, хорошо сложенное животное с высоким, круглым лбом, который указывал на большую смышленность. Она обладала поэтому также и большой способностью к материнской любви и материнскому горю. И все же она была обезьяной — громадным, свирепым, страшным животным из породы, близкой к породе горилл, — правда, несколько более развитой, чем сами гориллы, что в соединении с силой Керчака делало ее племя самым страшным изо всех племен человекообразных обезьян.

Когда стало очевидным, что бешенство Керчака улеглось, все медленно спустились со своих убежищ на землю и снова принялись за прерванные занятия. Детеныши играли и резвились между деревьями и кустами. Взрослые обезьяны лежали на мягком травяном ковре. Некоторые переворачивали упавшие ветки и гнилые пни в поиск

как насекомых и пресмыкающихся, которых они тут же поедали. Другие обследовали деревья и кусты, разыскивая плоды, орехи, птенцов и яйца. Так прошло около часа, затем Керчак созвал всех и приказал следовать за ним.

В местах с низкой растительностью обезьяны шли большей частью по земле, пробираясь по следам слонов — этим единственным проходам в густо переплетенной массе кустов, лиан, стволов деревьев. Их походка была неуклюжа, медленна, они переваливались с ноги на ногу, ставя суставы сжатых рук на землю и бросая вперед свое невольное тело. Но когда дорога вела через молодой лес, они передвигались гораздо быстрее, перепрыгивали с ветки на ветку с ловкостью своих маленьких сородичей-мартышек. Кала все время несла крохотное мертвое тело детеныша, крепко прижимая его к груди.

Вскоре после полудня стая достигла холма, господствовавшего над взморьем, откуда просматривалась маленькая хижина. К ней и направился Керчак.

Он видел, как многие из его племени погибали от грома, исходящего из маленькой черной палки в руках белой обезьяны, обитающей в странном логовище. Керчак решил во что бы то ни стало добыть эту палку, несущую смерть, и исследовать снаружи и внутри таинственную берлогу. Уже много раз ходил он со своим племенем на разведку, выжидая момента, надеясь застать белую обезьяну врасплох.

В этот раз они не увидели человека. Дверь хижины была открыта. Медленно, осторожно и безмолвно кралась обезьяна сквозь джунгли к маленькой хижине. Не слышно было ни рычания, ни криков бешенства — маленькая черная палка научила их приближаться тихо, чтобы не разбудить ее. Ближе и ближе подходили они. Наконец Керчак подобрался к самой двери и заглянул в хижину. Позади него стояли два самца и Кала, крепко прижимавшая к груди мертвого детеныша.

Внутри они увидели белую обезьяну. Она сидела у стола, склонив голову на руки. На постели вырисовывалась другая фигура, прикрытая парусом. Из крошечной деревянной колыбели доносился жалобный плач малютки.

Керчак неслышно вошел и приготовился к прыжку. Но в это время Джон Клейтон, почувствовав опасность, поднял голову и оцепенел от страха. В дверях стояли три самца-обезьяны, а за ними столпились другие — сколько их там было, он так никогда и не узнал. Револьверы и ружье висели далеко на стене. Керчак кинулся на него.

Когда царь обезьян отпустил безжизненное тело того, кто еще минуту назад был Джоном Клейтоном, лордом Грейстоком, он обратил внимание на маленькую колыбель и потянулся к ней. Но Кала предупредила его намерения. Прежде чем успели ее остановить, она схватила живого младенца, шмыгнула в дверь и забралась на дерево. Она оставила в пустой колыбели своего погибшего детеныша. Плач ребенка разбудил в ней материнскую нежность, которая была уже не нужна мертвому. Усевшись высоко среди могучих ветвей, Кала прижала плачущего ребенка к груди, он инстинктивно почувствовал мать и затих. Сын ан-

лийского лорда и английской леди стал кормиться грудью большой обезьяны Калы.

Убедившись, что Клейтон умер, Керчак первым делом обследовал постель. Он осторожно приподнял край парусины, увидел под ней тело женщины, грубо сорвал покров и сжал огромными волосатыми руками ненавистное белое горло. Однако поняв, что женщина мертва, отвернулся, заинтересованный обстановкой комнаты, — и больше не тревожил ни леди Элис, ни лорда Джона.

Ружье, висевшее на стене, более всего привлекало его внимание. Он много месяцев мечтал об этой странной палке. Теперь она была в его власти, а он не смел до нее дотронуться. Осторожно подошел он к ружью, готовый ударить, как только палка заговорит оглушительным рокочущим голосом, поражая насмерть тех из его племени, кто по незнанию или по необдуманности нападал на ее белого хозяина. В его зверином мозгу таилась смутная догадка, что громоносная палка опасна только в руках того, кто умел с нею обращаться. Прошло несколько минут, пока, наконец, он решился до нее дотронуться.

Он ходил взад и вперед, поворачивая голову так, чтобы не спускать глаз с интересовавшего его предмета. Могучий царь обезьян бродил по комнате, качаясь на каждом шагу, и издавал глухое рычание, прерываемое пронзительным воем, страшнее которого нет в джунглях.

Наконец он остановился перед ружьем, медленно поднял волосатую лапу и прикоснулся к блестящему стволу, но сразу же отдернул ее и снова заходил по комнате. Казалось, будто огромное животное диким рычанием старалось возбудить свою смелость для того, чтобы взять ружье. Он остановился, неуверенно дотронулся до холодной стали, и почти тотчас же снова отдернул руку, и возобновил свою возбужденную прогулку. Это повторялось много раз. Движения животного становились все увереннее, наконец, ружье было сорвано с крюка. Убедившись, что палка не причиняет ему вреда, Керчак занялся подробным осмотром. Он ощупал ружье со всех сторон, заглянул в черную глубину дула, потрогал мушку, ремень и, наконец, курок.

Забравшиеся в хижину обезьяны сидели в это время у двери, наблюдая за своим вожаком. Остальные толпились снаружи у входа, вытягивая шеи и стараясь заглянуть внутрь. Случайно Керчак нажал курок. Оглушительный грохот раздался в маленькой комнате, и звери, бывшие в хижине и за дверями, повалились, дав друг друга в безумной панике.

Керчак был так испуган, что забыл даже выпустить из рук виновника этого ужасного шума и бросился к двери, крепко сжимая ружье в руке. Он выскочил наружу, но ружье зацепилось за дверь, и она плотно захлопнулась за улелепывавшими обезьянами.

Отбежав от хижины, Керчак остановился, осмотрелся — и вдруг заметил, что все еще держит в руке ружье. Он торопливо отбросил его, как будто железо было раскалено докрасна.

Прошел целый час, прежде чем обезьяны набрались храбрости и снова приблизились к хижине. Но когда они, наконец, решились войти, то, к своему огорчению, убедились, что дверь закрыта

прочно. Попытки открыть ее не привели ни к чему. Хитроумно сооруженный Клейтоном замок запер дверь за спиной Керчака, а все намерения обезьян проникнуть сквозь решетчатые окна тоже не увенчались успехом.

Побродив некоторое время в окрестностях, они пустились в обратный путь сквозь чашу леса, к знакомому плоскогорью.

Кала так и сидела на дереве со своим маленьким приемышем; но когда Керчак приказал ей слезть, она, убедившись, что в его голосе нет гнева, легко спустилась, перебираясь с ветки на ветку, и присоединилась к другим обезьянам. Соплеменников, которые пытались осмотреть ее странного детеныша, Кала встречала оскаленными клыками и глухим угрожающим рычанием. Когда ее стали уверять, что никто не хочет нанести вред детенышу, она позволила подойти поближе, но не дала никому прикоснуться к своей ноше. Она чувствовала, что детеныш слаб и хрупок, и опасалась, что грубые лапы любопытных могут причинить вред малютке.

Пробираться сквозь джунгли Кале было особенно трудно, так как ей приходилось цепляться за ветки одной рукой. Другой она бережно прижимала к себе нового сына. Детеныши других обезьян сидели на спинах матерей, крепко держась руками за их волосатые шеи и просунув ноги под мышки, что нисколько не мешало их носильщикам. Кала держала крошечного лорда Грэйстока у своей груди, и нежные ручонки ребенка цеплялись за длинные черные волосы, покрывавшие эту часть ее тела. Кале было трудно, неудобно, тяжело. Но она помнила, как один ее детеныш, сорвавшись со спины, встретил ужасную смерть, и не хотела рисковать другим.

Белая обезьяна

Нежно вскармливала Кала своего найденыша, про себя удивляясь лишь тому, что он не делается сильным и ловким, как остальные маленькие обезьянки. Прошел год с того дня, как ребенок попал к ней, а только сейчас начинал ходить. Лазать же по деревьям он и не пытался.

Иногда Кала говорила со старшими самками о своем милом ребенке. Ни одна из них не могла понять, почему он такой отсталый и непонятливый, хотя бы, например, в таком простом деле, как добывание себе пищи. Он не умел находить себе еду, а ведь уже больше двадцати лун детеныш находился в стае. Знай Кала, что ребенок уже прожил на свете целых тринадцать лун до того, как попал к ней, она сочла бы его совершенно безнадежным. Ведь маленькие обезьяны ее племени были более развиты после двух или трех лун, чем этот маленький чужак после двадцати пяти.

Муж Калы, Тублат, испытывал величайшую ненависть к этому детенышу, и если бы самка не охраняла его самым ревностным и заботливым образом, он давно бы нашел случай убрать малютку со своей дороги.

— Он никогда не будет большой обезьяной, — рассуждал Тублат. — И тебе, Кала, вечно придется таскать его на себе и заботиться о нем. Какая польза от него для нас и для нашего племени?



Лучше всего бросить его, когда он уснет, в траве, а ты выносишь сильных обезьян, которые сумеют оберегать нашу старость.

— Нет, Сломанный Нос, ни за что,— возражала Кала,— пусть даже мне придется всю жизнь носить его!

Выведенный из себя, Тублат обратился к самому Керчаку и потребовал, чтобы царь своею властью заставил Калу отказаться от Тарзана. Так назван был маленький лорд Грэйсток. Имя это означало «белая кожа». Но когда Керчак заговорил с Калой о ребенке, она заявила, что убежит из племени, если ее с детенышем не оставят в покое. А так как каждый из обитателей джунглей имеет право уйти из племени, если оно ему не по душе, то Керчак ее больше не беспокоил, боясь потерять Калу — красивую, хорошо сложенную молодую самку.

И все же Тарзан подрастал. Он все быстрее и быстрее развивался и успешно догонял своих сверстников-обезьян. В десять лет он уже превосходно лазил по деревьям, а на земле мог проделывать такие фокусы, которые были не по силам его братьям и сестрам.

Он во многом отличался от них. Часто они дивились его изумительной хитрости. Но Тарзан был ниже их ростом и слабее. В десять лет человекообразные обезьяны уже совсем взрослые звери, и некоторые из них достигали шести футов. Тарзан же все еще был подростком-мальчиком. Но зато каким мальчиком! Подрастая, он ежедневно целыми часами гонялся по верхушкам деревьев за своими братьями и сестрами.

Он выучился делать прыжки в двадцать футов на головокружительной высоте и мог с безошибочной точностью и без видимого напряжения хвататься за ветку, бешено раскачивающуюся от ветра. Он мог на высоте двадцати футов перебраться с ветки на ветку, молниеносно спускаясь на землю, и был в состоянии с легкостью и быстротой белки взбираться на самую вершину тропического гиганта. Ему было всего десять лет, а он уже был силен, как здоровый тридцатилетний мужчина, и обладал несравненно большей подвижностью, чем тренированный атлет. И день ото дня силы его прибывали.

Жизнь Тарзана среди этих свирепых обезьян текла счастливо, потому что он не помнил иной жизни и не знал, что во вселенной есть что-нибудь, кроме необозримых джунглей и зверей в них.

Он начал понимать, что между ним и его товарищами существует большое различие. Маленькое его тело, коричневое от загара, стало вдруг вызывать в нем острое чувство стыда, потому что он заметил, что оно совершенно безволосое и голое, как тело презренной змеи или другого пресмыкающегося.

Он пытался поправить дело, обмазав себя с ног до головы грязью. Но грязь высохла и облупилась. Вдобавок это причинило ему такое неприятное ощущение, что он решил лучше переносить стыд, чем подобное неудобство.

На равнине, которую часто посещало его племя, было маленькое озеро, и в нем впервые увидел Тарзан свое лицо, отраженное в зеркале светлых прозрачных вод. Однажды в знойный день, в

период засухи, он и один из его сверстников отправились к озеру, чтобы утолить жажду. Когда они нагнулись, в тихой воде отразились оба лица: свирепые и страшные черты обезьяны рядом с тонкими чертами аристократического отпрыска старинного английского рода. Тарзан был ошеломлен. Мало того, что он безволосый! У него, оказывается, такое безобразное лицо! Он удивился, как другие обезьяны могут терпеть его в стае.

Какой противный маленький рот и крохотные белые зубы! На что они похожи рядом с могучими губами и клыками его счастливых братьев? А этот тонкий нос — такой жалкий и убогий, словно он исхудал от голода! Тарзан покраснел, когда сравнил свой нос с великолепными широкими ноздрями своего спутника. Вот у того действительно красивый нос! Он занимает почти половину лица! «Хорошо быть таким красавцем!» — с горечью подумал бедный маленький Тарзан.

Но когда он рассмотрел свои глаза, то окончательно пал духом. Темное пятно, серый зрачок, а кругом одна белизна! Отвратительно! Даже у змеи нет таких гадких глаз, как у него!

Он был так углублен осмотром своей внешности, что не услышал шороха высоких трав, раздвинутых за ним огромным зверем, который пробирався сквозь джунгли. Не слышал ничего и его товарищ-обезьяна: он в это время жадно пил, и чмокание сосущих губ заглушало шум шагов тихо подкрадывающегося врага.

Шагах в тридцати от них притаилась Сабор, свирепая львица. Нервно подергивая хвостом, она осторожно выставила вперед мягкую лапу и бесшумно опустила ее на землю. Почти касаясь брюхом земли, ползла эта хищная огромная кошка, готовясь прыгнуть на свою добычу.

Уже всего около десяти футов отделяло ее от ничего не подозревавших подростков. Львица медленно подобрала под себя задние ноги, и рельефные мускулы красиво напряглись под золотистой шкурой.

Львица так плотно прижалась к земле, что казалось, будто вся растеклась, только изгиб спины возвышался над травой. Хвост, напряженный и прямой, как палка, замер.

Одно мгновение она выжидала, словно окаменев. А затем с ужасающим ревом прыгнула. Львица Сабор была мудрым охотником. Свирепый рев ее, сопровождавший прыжок, мог бы показаться совсем лишним. Разве не вернее напасть на жертву безмолвно? Но Сабор знала быструю реакцию обитателей джунглей и почти невероятную остроту их слуха. Для них внезапный шорох травяного стебля был таким же ясным предостережением, как самый громкий рев. Сабор понимала, что ей все равно не удастся бесшумно прыгнуть из-за кустов. Не предостережением был ее дикий рык. Она испустила его, чтобы бедные жертвы оцепенели от ужаса на тот краткий миг, пока она не запустит своих когтей в их мягкое тело.

Поскольку дело касалось обезьяны, Сабор рассудила правильно. Звереныш оцепенел на мгновение, но этого мгновения оказалось достаточно для его гибели.

Не то Тарзан, дитя человека. Жизнь в джунглях, среди постоянных опасностей приучила его отважно встречать всякие случайности, а более

высокий ум действовал с быстротой, недоступной обезьянам. Вой львицы Сабор наэлектризовал мозг и мускулы маленького Тарзана, и он приготовился к моментальному отпору.

Перед ним были глубокие воды озера, за спиной неизбежная жестокая смерть от когтей и клыков. Тарзан всегда ненавидел воду и признавал ее только как средство для утоления жажды. Он ненавидел ее, потому что связывал с ней представление о холоде, о проливных дождях, сопровождаемых молнией и громом, которых он боялся. Его дикая мать научила избегать глубоких вод озера. Разве он не видел сам несколько недель до того, как маленькая Нита погрузилась под спокойную поверхность воды и больше не вернулась к племени? Но из двух зол быстрый его ум избрал меньшее. Не успел замереть крик Сабор, нарушивший тишину джунглей, как Тарзан почувствовал, что холодная вода сомкнулась над его головой.

Тарзан не умел плавать, а озеро было глубокое, но он не потерял своей обычной самоуверенности и находчивости. Он стал энергично работать руками и ногами, пытаясь выбраться наверх, инстинктивно делая движения, присущие плывущим собакам. Через несколько секунд нос его оказался над поверхностью воды, и он понял, что, продолжая такого рода движения, он сможет держаться на воде и даже двигаться в ней.

Тарзан был изумлен и обрадован этим новым умением, так неожиданно приобретенным, но у него не было времени долго об этом думать. Он плыл теперь параллельно берегу и видел жестокого зверя, который, притаившись над безжизненным телом его маленького приятеля, схватил бы, конечно, и его. Львица напряженно следила за Тарзаном, очевидно предполагая, что он вернется на берег, но мальчик и не думал это делать. Вместо того он испустил громкий предостерегающий крик своего племени. Почти немедленно издали донесся ответ, и тотчас же сорок или пятьдесят обезьян помчались по деревьям к месту трагедии.

Впереди всех неслась Кала, потому что она узнала голос своего любимца, а с нею была и мать той маленькой обезьянки, которая уже лежала мертвой у ног Сабор. Огромная львица, вооруженная для сражения лучше, чем человекоподобные, все же не желала встретить их бешеных взрослых самцов. Яростно рыча, она быстро прыгнула в кусты и скрылась.

Тарзан подплыл к берегу и поспешно вылез на сушу. Чувство свежести и удовольствия, доставленное ему невольным купанием, наполнило его маленькое существо радостным изумлением. Впоследствии он никогда не упускал случая окунуться в озеро, реку или океан, как только представлялась возможность. Долгое время Кала не могла привыкнуть к таким проказам.

Приключение с львицей стало одним из острых воспоминаний Тарзана: такого рода происшествия нарушали однообразие повседневной жизни. Без подобных случаев его жизнь была бы лишь скучной чередой поисков пищи, еды и сна.

Племя Тарзана кочевало по территории, занимающей двадцать пять миль морского берега и приблизительно пятьдесят миль материковых джунглей. Изо дня в день бродили здесь обезьяны.



Длительность переходов и стоянок зависела от обилия или недостатка пищи, от природных условий местности и от наличия опасных зверей. Однако Керчак зачастую заставлял обезьян делать длинные переходы только по той причине, что ему было скучно долго оставаться на одном и том же месте.

Ночью они спали там, где их застигала темнота, укладываясь на землю и прикрывая головы, а изредка и все тело листьями гигантского лопуха. Чаще, если ночи были холодные, чтобы согреться, они лежали, прижавшись друг к другу, по двое или по трое. Таким образом и Тарзан все эти годы по ночам спал в объятиях Калы.

Не было никаких сомнений, что огромное свирепое животное горячо любило своего белого детеныша. Он, со своей стороны, отдавал большому волосатому зверю всю ту нежность, которая была бы обращена к его прекрасной, безвременно умершей молодой матери. Правда, когда Тарзан не слушался Калы, она слегка его шлепала, но гораздо чаще ласкала, чем наказывала.

Однако Тублат, ее муж, продолжал ненавидеть Тарзана и искал случая покончить с белой обезьяной. Тарзан, в свою очередь, пользовался любой удобной возможностью чтобы показать, что и он отвечает полной взаимностью на чувства своего приемного отца. Если он мог безопасно досадить ему, состроить рожу или послать бранное слово, находясь в надежных объятиях матери, он это делал непременно. Изобретательный ум и хитрость помогали Тарзану измышлять сотни дьявольских проделок, чтобы насолить Тублату и отравить его и без того тяжелое обезьянье существование.

Еще в раннем детстве Тарзан научился вить веревки, скручивая и связывая длинные травы. Этими веревками он при всяком удобном случае стегал Тублата или пытался схватить его под мышки и подвесить на низких ветвях дерева.

Играя постоянно с веревками, Тарзан научился вязать грубые узлы и делать затяжные петли, чем забавлялись вместе с ним и маленькие обезьяны. Они пытались подражать Тарзану, но он один изобретал и доводил выдумки до совершенства.

Однажды Тарзан накинул петлю на одного из бежавших с ним товарищей, придерживая другой конец веревки в своей руке. Петля случайно обвилась вокруг шеи обезьяны, принудив ее самым неожиданным образом резко остановиться.

«Ага, вот новая игра, и хорошая игра!» — подумал Тарзан и тотчас же попытался повторить эту шутку. Постоянной практикой и старательными упражнениями он отлично научился искусству закидывать на шею жертвы петли аркана.

И вот тогда жизнь Тублата превратилась в постоянный кошмар. Спал ли он, шел ли — ночью и днем, он никогда не мог быть уверен, что невидимая беззвучная петля не схватит его шеи и не задушит его.

Кала наказывала Тарзана, Тублат клялся жестоко отомстить ему, даже старый Керчак обратил внимание на его шалости, предостерегал его, грозил, но все было напрасно. Тарзан никого не слушался, и тоненькая крепкая петля охватывала шею Тублата, когда тот меньше всего ожидал нападения.

Другим обезьянам эти вечные проделки Тарзана с Тублатом казались забавными, так как Сломанный Нос был вредным стариком, которого никто не любил.

Беспокойный молодой ум Тарзана постоянно будоражили новые замыслы. Если он мог ловить своих соплеменников-обезьян длинным арканом из трав, почему бы не попытаться ему поймать им и львицу Сабор? Это был лишь зародыш мысли, и ей суждено было медленно созревать и таиться в его подсознании, пока, наконец, эта идея не осуществилась самым блистательным образом.

Бой в джунглях

Постоянные скитания часто приводили обезьян на берег маленькой бухты, к запертой и безмолвной хижине. Ее таинственность была для Тарзана постоянным источником интереса. Он заглядывал в занавешенные окна или взбирался на крышу и смотрел в черное отверстие трубы, тщетно ломая голову над неведомыми чудесами, заключенными среди этих крепких стен. Его детское воображение создавало фантастические образы удивительных существ, находящихся внутри хижины. Он часами исследовал крышу и окна, пытаясь найти вход, но почти не обращал внимания на дверь, потому что она мало отличалась от массивных и непрístupных стен.

Вскоре после своего приключения со старой Сабор, Тарзан снова посетил хижину и, подходя к ней, заметил, что дверь выделяется на общем фоне стены. Впервые он подумал, что, быть может, здесь-то и кроется так долго ускользавший от него способ вторжения в хижину.

Он был один, что случалось часто, когда он бродил около хижины, потому что обезьяны ее избегали. История о палке, извергающей грома, еще жила в их памяти, и пустынное обиталище неведомого белого человека оставалось окутанным атмосферой ужаса и тайны. О том, что он сам был найден здесь, Тарзан не знал. А рассказать ему об этом никто не смог. В обезьяньем языке так мало слов, что их хватало самое большее на то, чтобы поведать о палке с громом. Но для описания неведомых странных существ, их обстановки и вещей язык обезьян был бессилен. И поэтому задолго перед тем, как Тарзан вырос настолько, чтобы понять эту историю, она была попросту забыта племенем. Кала туманно и смутно объяснила Тарзану, что отец его был странной белой обезьяной, но мальчик не знал, что Кала не была ему родной матерью.

Итак, в тот день он направился прямо к двери и провел много часов, исследуя ее. Он долго возился с петлями, с ручкой, с засовом. Наконец он нечаянно нажал на запор, и дверь к его удивлению с треском раскрылась. Несколько минут он не решался войти, но когда его глаза свыклись с тусклым светом комнаты, медленно и осторожно пробрался туда.

Посреди комнаты лежал скелет без малейших следов плоти; кости едва прикрывали истлевшие, покрытые плесенью остатки того, что когда-то было одеждой. На постели Тарзан заметил дру-

гой такой же страшный предмет, но уже меньшего размера, а в крошечной колыбели около кровати лежал третий крохотный скелет. Мальчик только мимоходом обратил внимание на эти свидетельства давней трагедии. Джунгли приучили его к зрелищу мертвых и умирающих животных.

Внимание его привлекли находившиеся в комнате предметы. Он стал подробно и внимательно рассматривать все подряд: странные инструменты, оружие, книги, бумаги, одежду — то немного, что уцелело от разрушительного действия времени в сырой атмосфере прибрежных джунглей. Затем он открыл те ящики и шкафы, с которыми смог справиться благодаря только что приобретенному опыту. Вещи здесь сохранились гораздо лучше. Среди них был охотничий нож, об острие лезвия которого Тарзан немедленно порезал палец. Нимало не смущаясь, он продолжал свои опыты и убедился, что этой штукой можно откалывать щепки от столов и стульев.

Некоторое время это занятие забавляло его, но, наконец, наскучило, и он продолжил свои поиски. В одном из наполненных книгами шкафов ему попала книга с ярко раскрашенными картинками. Это была детская иллюстрированная азбука.

С А начинается Аист,
Гнездо свое вьет он на крыше.
С Б начинается Башня,
Домов всех вокруг она выше.

Картинки его увлекли необычайно. Он увидел много белых обезьян, похожих на него. В книге он нашел изображения маленьких мартышек, которых он видел в родных джунглях. Но нигде он не встретил обезьян своего племени, во всей книге не было ни Керчака, ни Тублата, ни Калы.

Сначала Тарзан пытался снять пальцем знакомые маленькие фигуры со страниц, но быстро понял, что они не настоящие. А вот пароходы, поезда, коровы и лошади не имели для него никакого смысла, они скользили мимо внимания и не беспокоили его. Почему-то особенно заинтересовали Тарзана и даже сбили с толку многочисленные черные фигурки внизу и между раскрашенными картинками — что-то вроде букашек, подумалось ему, — потому что у многих из них были ноги, но ни у одной не было ни рук, ни глаз. Это было его первое знакомство с буквами алфавита. Он, десятилетний мальчишка, никогда не выдавший ничего печатного, никогда не говоривший с кем-либо, кто имел хотя бы отдаленное представление о существовании письменности, никак не мог угадать значение этих странных фигурок.

В середине книги он нашел своего старого врага — львицу Сабор, а затем и змею Хисгу, свернувшуюся клубком. О, как это было замечательно! Никогда он не испытал такого огромного удовольствия. Он так увлекся, что даже не обратил внимания на приближающиеся сумерки, пока они не надвинулись и не смешали все рисунки.

Тарзан положил книгу в шкаф и притворил дверь, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь другой нашел и уничтожил его сокровище. Уходя, он заметил охотничий нож, лежавший на полу, поднял его и взял с собой, чтобы показать своим товарищам. Уже стемнело, когда он закрыл за со-

бой большую дверь хижины так, как она была закрыта прежде.

Едва Тарзан углубился в джунгли, как из-за низкого куста выступил перед ним огромный силуэт. Сначала он принял его за обезьяну своего племени, но через мгновение сообразил, что это Болгани, громадная горилла. Мальчик стоял так близко к ней, что бежать уже было невозможно. Тарзан понял, что единственный выход — остаться на месте и биться, биться насмерть, потому что эти свирепые звери были смертельными врагами его соплеменников и, встретившись с ними, никогда не просили и не давали пощады. Если б Тарзан был взрослым самцом обезьяньего племени Керчака, он был бы серьезным противником для гориллы, но он был лишь маленьким мальчиком, правда, необычайно крепким и мускулистым для своего возраста, и, конечно, не мог сравниться со своим страшным противником. Но в его жилах текла кровь англичан, среди которых много могучих бойцов и знаменитых спортсменов, у него было ловкое и тренированное тело и опыт, приобретенный в повседневной борьбе за выживание в джунглях.

Тарзану было чуждо понятие страха в нашем понимании, его маленькое сердце билось учащенно, но только от нервного возбуждения. Если бы представилась возможность бежать, он, конечно, воспользовался бы этой возможностью, но лишь потому, что рассудок подсказывал, что он неровня громадному зверю. Но бегство было немислимо, и Тарзан храбро встретил гориллу. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он схватился со зверем, едва тот прыгнул на него, и бил его громадное тело своими кулаками, разумеется, столь же безрезультатно, как если бы муха ударяла слона. Но в одной руке Тарзан все еще держал нож, подобранный им в хижине отца, и когда зверь, кусаясь, опять бросился на него, мальчик случайно ударил острием ножа волосатую грудь гориллы. Нож глубоко вонзился в тело, и зверь завыл от боли и бешенства.

В один миг мальчик познал назначение своей острой блестящей игрушки. Он немедленно воспользовался новым знанием, и когда терзающий, кусающий зверь повалил его на землю, он несколько раз погрузил ему нож в грудь по самую рукоять.

Горилла наносила мальчику ужасающие удары и терзала его тело своими могучими клыками. Некоторое время они катались по земле в диком бешенстве сражения. Истерзанный и залитый кровью ребенок все слабее и слабее наносил удары длинным лезвием ножа, наконец маленькая фигурка судорожно вытянулась, и Тарзан, молодой лорд Грэйсток, упал без признаков жизни на траву...

Племя Керчака услышало издали свирепый визов гориллы. И, как всегда, в случаях опасности, Керчак сейчас же собрал свое племя для защиты от общего врага, так как горилла могла быть не одна. Вскоре выяснилось, что нет Тарзана. Тублат, страшно обрадовавшись случаю, изо всех сил противился посылке помощи. Сам Керчак, тоже недолюбливавший странного маленького найденыша, охотно послушал Тублата и, пожав пле-



чами, вернулся к груде листьев, на которых приготовил себе постель.

Иначе думала Кала. Едва она узнала, что Тарзан исчез, как уже мчалась по спутанным ветвям к месту, откуда еще доносились крики гориллы.

Взошедшая луна струила свой неверный свет, порождая уродливые тени от сплетенных ветвей. Редкие матовые лучи ее проникали до земли, но этот свет только сгущал крошечную тьму джунглей.

Неслышно, подобно огромному призраку, перебрасываясь Кала с ветки на ветвь. Она то быстро скользила по большим сучьям, то перелетала пространство между деревьями и быстро приближалась к месту происшествия. Ее опыт и знание джунглей подсказывали, что место боя близко. Крики гориллы означали, что страшный зверь находится в смертельном бою с каким-то другим обитателем дикого леса. Внезапно они смолкли, и воцарилась гробовая тишина.

Кала ничего не могла понять: крик гориллы был несомненно криком страданий и предсмертной агонии, но она не могла определить, кто был ее противником. Совершенно невероятно, чтобы ее маленький Тарзан смог уничтожить большую обезьяну-самца. И потому, когда Кала приблизилась к месту поединка, она стала продвигаться осторожнее, а под конец совсем медленно и опасно пробиралась по нижним ветвям, тревожно вглядываясь в обрызганную лунным светом тьмоту и отыскивая хоть какой-нибудь признак бойцов. Вдруг на открытой полянке она видела ма-

ленькое истерзанное тело Тарзана и рядом с ним большого самца-гориллу, уже мертвого и окоченевшего.

С глухим криком бросилась Кала к Тарзану, прислушиваясь, не бьется ли в нем еще жизнь, и с трудом расслышала слабое биение маленького сердца. Осторожно и любовно понесла его Кала через чернильную тьму джунглей к своему племени.

Долгие дни и ночи пришлось ей выхаживать Тарзана. Бедняжка не имела понятия о медицине, она могла только вылизывать раны и таким способом держала их в относительной чистоте, пока целительные силы природы делали свое дело.

Первое время Тарзан ничего не ел, метался в бреду и лихорадке. Но он поминутно просил пить, и она носила ему воду тем единственным способом, который был в ее распоряжении — в собственном рту. Ни одна женщина не сумела бы проявить большей самоотверженной преданности к маленькому найденышу, чем это дикое животное.

Наконец лихорадка прошла, и мальчик начал поправляться. Ни одной жалобы не вырвалось из его крепко сжатых губ, хотя его раны мучительно болели. Часть его груди оказалась разорванной до костей, и три ребра были переломлены могучими ударами гориллы. Одна рука была почти перегрызена огромными клыками, на шее вырван клочок кожи, и обнажена главная артерия, которую свирепые челюсти не перекусили лишь чудом. Со стоицизмом, перенятым от воспитавших его зве-

рей, Тарзан молча переносил боль, предпочитая уползти в заросли высоких трав и безмолвно лежать там, свернувшись в клубок, чем выставлять напоказ свои страдания. Одну лишь Калу Тарзан был всегда рад видеть рядом. Но теперь, когда дело пошло на поправку, она уходила на более продолжительное время для поисков пищи. Пока Тарзану было плохо, преданное животное питалось кое-как, чтобы только поддержать свое существование. И теперь Кала от худобы стала тенью самой себя.

Свет познания

Прошло много времени, и оно показалось целой вечностью маленькому страдалцу, пока, наконец, он встал на ноги и мог снова ходить. Но с этих пор выздоровление его пошло уже так быстро, что через месяц Тарзан был таким же сильным и подвижным, как прежде.

Во время своей болезни он много раз восставал в памяти бой с гориллой. Тарзан мечтал снова отыскать то чудесное оружие, которое превратило его из безнадежно слабого и хилого существа в победителя могучего зверя, наводившего страх на джунгли. Кроме того, его тянуло снова побывать в хижине и продолжить осмотр диковинных вещей.

И пришло то время, когда он отправился на розыски. Тарзан быстро нашел начисто обглоданные кости своего противника. Тут же, прикрытый опавшими листьями, валялся нож, весь заржавевший от запекшейся крови гориллы и от долгого лежания на влажной почве. Ему не понравилось, что прежняя блестящая поверхность ножа так изменилась, но все-таки в его руках это было достаточно грозное оружие, которым он решил воспользоваться при первой опасности. У него мелькнула даже мысль, что отныне он уже не должен спасаться бегством от наглых нападений старого Тублата.

Через несколько минут Тарзан был около хижины, открыл дверь и вошел. Его первой заботой было изучить механизм замка, и он внимательно осмотрел его устройство. Ему хотелось точно узнать, что собственно держит дверь и каким образом она открывается, как только прикоснешься к запору. Тарзан увидел, что изнутри тоже можно закрыть дверь на замок. Он так и сделал, чтобы никто не беспокоил его во время занятий.

Лишь тогда Тарзан приступил к систематическому осмотру хижины. Его внимание было опять главным образом приковано к книгам. Казалось, от них исходила какая-то колдовская сила. Он не мог сейчас заняться ничем иным — до такой степени захватила его увлекательная, изумительная тайна книг.

Здесь был букварь, несколько детских книжек, какие-то многочисленные книги с картинками и большой словарь. Тарзан рассмотрел их все. Больше всего ему понравились картинки, но и маленькие странные букашки, покрывавшие страницы, где не было рисунков, вызывали в нем удивление и будили его мысль.

Сидя с поджатыми ногами на столе в хижине, построенной его отцом, склонившись своим строй-

ным и нагим телом над книгой, этот маленький первобытный человек с густой гривой волос и блестящими умными глазами являл собой трогательную и прекрасную живую аллегория первобытного стремления к знанию сквозь черную ночь умственного небытия. Лицо его поражало выражением напряженной работы мысли. Каким-то не поддающимся анализу путем он уже нащупал ключ к столь смущавшей его загадке о таинственных маленьких букашках.

Перед ним лежал букварь, а в букваре был рисунок, изображавший маленькую обезьяну. Эта обезьяна походила на него самого, но, за исключением рук и лица, была покрыта каким-то забавным цветным мехом. Тарзан принимал за мех костюм человека! Над картинкой виднелись семь маленьких букашек:

М—а—л—ь—ч—и—к

И он заметил, что в тексте на той же странице эти семь букашек много раз повторялись в том же порядке.

Затем он постиг, что отдельных букашек было сравнительно немного, но что они повторялись много раз — иногда в одиночку, а чаще в сопровождении других. Он медленно переворачивал страницу, вглядываясь в картинку и текст и отыскивая повторение знакомого сочетания — м—а—л—ь—ч—и—к. Вот он снова нашел его под другим рисунком: там опять была маленькая обезьяна и с нею какое-то неведомое животное, стоявшее на всех четырех лапах и походившее на шакала. Под рисунком букашки слагались в такое сочетание:

М а л ы ч и к и с о б а к а .

Итак, эти семь маленьких букашек всегда сопровождали маленькую обезьяну!

Таким образом шло вперед учение Тарзана. Правда, оно шло очень, очень медленно, потому что, сам того не ведая, он задал себе трудную и кропотливую работу, которая вам или мне показалась бы невозможной: он хотел научиться читать, не имея ни малейшего понятия о буквах или письме.

Как-то раз (ему было тогда около двенадцати лет) в одном из ящиков стола он нашел несколько карандашей. Случайно проведя концом одного из них по столу, он с восхищением увидел, что карандаш оставляет за собой черный след. Тарзан так усердно занялся этой новой игрушкой, что поверхность стола очень скоро покрылась линиями, зигзагами и кривыми петлями, а кончик карандаша стерся до дерева. Тогда Тарзан принялся за новый карандаш. Но на этот раз уже имел определенную цель. Ему пришло в голову самому изобразить некоторые из маленьких букашек, которые ползали на страницах его книг. Это было трудное дело прежде всего уже потому, что он держал карандаш так, как привык держать рукоять кинжала, что далеко не способствовало облегчению письма или разборчивости написанного. Однако Тарзан не бросил своей затеи. Он занимался письмом всякий раз, когда приходил в хижину, и в конце концов практический опыт указал ему такое положение карандаша, при котором ему легче было направлять и водить его. И тогда он получил возможность воспроизвести некоторые из маленьких букашек.

После того, как он открыл расположение букв в алфавитном порядке, он с наслаждением искал и находил знакомые ему комбинации. Слова, сопровождавшие их, и их определения увлекли его все дальше и дальше в громадную область знания.

К семнадцати годам Тарзан научился читать детский букварь и вполне понял удивительное значение маленьких букашек. Он уже не презирал свое голое тело, не приходил в отчаяние при виде своего лица, он знал теперь, что принадлежит к совсем иной породе, чем его дикие и волосатые сотоварищи. Он был ч-е-л-о-в-е-к, а они о-б-е-з-ья-н-ы. Маленькие же обезьяны, скачущие по верхушкам деревьев, были м-а-р-т-ы-ш-к-и. Тарзан узнал также, что старая Сабор — л-ь-в-и-ц-а, Хиста — з-м-е-я, а Тантор — с-л-о-н.

В его учении случались большие перерывы, так как племя иногда далеко уходило от хижины, но даже вдали от книг его живой ум продолжал работать над этими таинственными и увлекательными вопросами. Куски коры, плоские листья и даже гладкие участки земли служили Тарзану тетрадами, в которых острием охотничьего ножа он выцарапывал уроки.

Но в то же время он не пренебрегал и суровыми жизненными знаниями, постоянно упражнялся с веревкой и охотничьим ножом, который научился точить о плоские камни.

Племя за эти годы значительно окрепло и увеличилось. Под предводительством Керчака ему удалось изгнать другие племена из своей части джунглей, так что пищи хватало на всех и почти не приходилось терпеть от дерзких набегов соседей. И потому, вырастая, молодые самцы считали более удобным для себя брать жен из собственного племени, а если и захватывали чужеродных самок, то приводили их к Керчаку, предпочитая подчиниться ему и жить с ним в дружбе, чем уходить из стаи.

Тарзан находился в племени на особом положении. Хотя обезьяны и считали его своим, Тарзан слишком от них отличался, чтобы не быть одиноким в их обществе. Старшие самцы уклонялись от общения с ним и либо не обращали на него внимания, либо относились к нему с такой неприимой ненавистью, что, если бы не изумительная ловкость мальчика и не защита могучей Калы, которая оберегала его со всем пылом материнской любви, он был бы убит еще в раннем возрасте.

Самым свирепым и постоянным врагом был Тублат. Но когда Тарзану минуло около тринадцати лет, преследования внезапно прекратились, его оставили в покое и даже стали питать к нему уважение. Тарзан мог, наконец, рассчитывать на спокойную совместную жизнь с племенем Керчака, за исключением тех случаев, когда на кого-нибудь из самцов находил припадок безумного неистовства, которыми страдают в джунглях самцы диких зверей. Виновником этого счастливого для Тарзана поворота был тот же Тублат.

Однажды племя Керчака собралось в маленьком естественном амфитеатре, лежащем среди невысоких холмов, на широкой и чистой поляне, свободной от колючих трав и ползучих растений. Площадка была почти круглой. Со всех сторон поляну замыкали мощные гиганты девственного леса, их огромные стволы были оплетены такой сплошной

стеной кустарника, что доступ на маленькую гладкую арену был возможен лишь по ветвям деревьев. Здесь, в безопасности от какого-либо вторжения, устраивало свои собрания племя Керчака. В середине амфитеатра возвышался один из тех странных земляных барабанов, из которых антропоиды извлекают адскую музыку при совершении своих обрядов. Из глубины джунглей глухие удары иногда доносятся до человеческого слуха, но никто из людей никогда не присутствовал на этих ужасных празднествах. Многим путешественникам удалось увидеть эти диковинные барабаны обезьян. Иные из них слышали даже грохот свирепого, буйного разгула громадных человекообразных, этих первых властителей джунглей. Но Тарзан, лорд Грэйсток, был, несомненно, первым человеком, который когда-либо сам участвовал в опьяняющем разгуле Дум-Дум.

Этот первобытный обряд послужил, вероятно, прототипом всех служб, церемоний и торжеств, которые устраивались и устраиваются церковью и государством. На заре человеческого сознания, в седой глубине веков, за далекой гранью зарождающегося человечества, наши свирепые волосатые предки при ярком свете луны выплясывали обряды Дум-Дум под звуки своих земляных барабанов в глубине величавых джунглей. Такими остались они и поныне.

Празднества Дум-Дум устраивались обычно по случаю того или иного важного события в жизни обезьян, например, победы над враждебным племенем, захвата пленника, умерщвления или поимки какого-нибудь крупного хищника джунглей и, наконец, по случаю смерти или воцарения владыки — главы племени.

В этот день праздновалась победа над гигантской обезьяной из стана врагов. Два могучих самца принесли труп побежденного. Они положили свою ношу перед земляным барабаном и уселись на корточках возле него, охраняя. Остальные участники торжества разлеглись в густой траве, чтобы подремать, пока не взойдет луна. При ее свете должна была начаться дикая оргия.

Когда над джунглями спустилась ночь, обезьяны зашевелились, поднялись и расположились вокруг земляного барабана. Самки и детеныши длинной вереницей уселись на корточках с внешней стороны амфитеатра, взрослые самцы расположились внутри полянки, прямо против них. У барабана заняли место три старые самки. Каждая из них держала в руках толстую суковатую палку длиной около пятнадцати дюймов. Чем выше поднималась луна и чем ярче освещался ее сиянием лес, тем сильнее и чаще били в барабан обезьяны. Дикий ритмический грохот наполнил всю окрестность на много миль вокруг. Хищные звери джунглей приостановили свою охоту и, насторожив уши и приподняв головы, с любопытством прислушивались к далеким глухим ударам, указывавшим на то, что у больших обезьян начался праздник Дум-Дум. По временам какой-нибудь зверь испускал пронзительный визг или рев в ответ на дикие звуки праздника антропоидов, но никто из них не решался пойти на разведку или подкрасться для нападения.

Когда грохот барабана достиг кульминации, Керчак выскочил на середину круга, в открытое



пространство между сидящими на корточках самцами и барабанщицами. Выпрямившись во весь рост, он откинул голову назад и, устремив взгляд к восходящей луне, ударил в грудь своими большими волосатыми лапами, испуская страшный, рычащий крик. Еще и еще пронесся этот наводящий ужас крик над притихшими в безмолвии ночи, словно вымершими джунглями. Затем Керчак, крадучись, бесшумно проскочил мимо тела мертвой обезьяны, лежавшей перед барабаном, не сводя с трупа своих красных маленьких, сверкающих злобою глаз, и, переваливаясь, побежал вдоль круга.

Следом за ним на арену выпрыгнул другой самец, закричал и повторил движения вождя. За ним вошли в круг и другие, и джунгли теперь уже почти непрерывно оглашались их кровожадным криком. Эта пантомима изображала вызов врагу. Когда все взрослые самцы присоединились к хороводу неистующих плясунов, началось нападение.

Выхватив огромную дубину из груды заготовленных для этой цели, Керчак с боевым рычанием бешено кинулся на мертвую обезьяну и нанес первый ужасающий удар. Барабанный грохот усилился, и на поверженного врага посыпались удар за ударом. Каждый из самцов, приблизившись к жертве обряда, старался поразить ее дубиной, а затем уносился в бешеном вихре Пляски Смерти.

Тарзан тоже участвовал в этом безумном танце. Его смуглое, испещренное полосами пота, мускулистое тело блестело в свете луны и выделялось гибкостью и изяществом среди неуклюжих, грубых, волосатых зверей.

Дикая пляска продолжалась около получаса. Но вот по знаку Керчака прекратился бой барабана. Самки-барабанщицы торопливо пробралась сквозь цепь плясунов и присоединились к толпе зрителей. Самцы, все как один, ринулись на тело врага. Им не часто удавалось есть в достаточном количестве свежее мясо. Поэтому дикий разгул их ночного праздника всегда кончался пожиранием окровавленного трупа. Огромные клыки вонзались в тушу, разрывая кровавое битое тело. Более сильные хватали отборные куски, а слабые вертелись около дерущейся и рычащей толпы, выжидая удобный момент, чтобы втереться туда хитростью и подцепить лакомый кусочек или стащить какую-нибудь оставшуюся кость прежде, чем все исчезнет.

Тарзан еще больше, чем обезьяны, любил мясо и испытывал в нем потребность. Плотоядный по природе, он еще ни разу в жизни, как ему казалось, не поел мяса досыта. И вот теперь, ловкий и гибкий, он пробрался глубоко в массу борющихся и раздирающих мясо обезьян. Он стремился хитростью добыть себе хороший кусок, который ему трудно было бы добыть силой. С боку у него висел охотничий нож его неведомого отца, он видел образчик их на рисунке в одной из своих драгоценных книг. Проталкиваясь в толпе, он наконец добрался до быстро исчезающего угощения и своим острым ножом отрезал изрядный кусок, он и не надеялся, что ему достанется такая богатая добыча — целое предплечье, просовывающееся из-под ног могучего Керчака, который был так занят своим царственным обжорством, что даже не заметил содеянного Тарзаном оскорбления величества... И Тарзан благополучно выбрался из столпотворения со своей добычей.

Среди обезьян, которые тшетно вертелись за пределами круга пирующих, был и старый Тублат. Он одним из первых на пиру захватил уже отличный кусок, который спокойно съел в сторонке. Но этого ему показалось мало, и теперь он снова пробивал себе дорогу, желая еще раз раздобыть хорошую порцию мяса.

Вдруг он заметил Тарзана. Мальчик выскочил из царапающей и кусающей кучи переплетенных тел с трофеем, который он крепко прижимал к груди. Маленькие, тесно посаженные, налитые кровью свиные глазки Тублата злобно засверкали, когда он увидел ненавистного приемыша. В них загорелась также и жадность при виде лакомого куска мяса.

Но и Тарзан заметил своего злейшего врага. Угадав его намерение, он быстро прыгнул к самкам и детенышам, надеясь скрыться среди них. Тублат быстро гнался по пятам. Убедившись, что ему не удастся найти место, где он мог бы спрятаться, Тарзан понял, что остается одно — бежать.

Со всех ног помчался он к ближайшим деревьям, ловко прыгнул, ухватился рукой за ветку и с добычей в зубах стремительно полез вверх, преследуемый Тублатом. Тарзан поднимался все выше и выше на раскачивающуюся вершину величавого гиганта. Тяжеловесный преследователь не решился подниматься за ним по хлипким веткам. Усевшись на вершине, мальчик кидал оскорбления и насмешки разъяренному, покрытому пеной животному, которое остановилось на пятьдесят футов ниже его.

И Тублат впал в бешенство. С ужасающими воплями и рычанием низвергнулся он наземь в толпу самок и детенышей и накинудся на них. Он перегрызал огромными клыками маленькие слабые детские шеи и вырывал целые куски шкуры из спин и живота самок, не успевших убежать.

Луна ярко озаряла эту кровавую оргию бешенства. Тарзан видел, как самки и детеныши бежали, что было сил в безопасные места на деревьях. А затем и большие самцы, что сидели посредине арены, почувствовали могучие клыки своего обезумевшего товарища. И тогда все обезьяны поспешно скрылись среди черных теней окрестного леса.

В амфитеатре, кроме Тублата, оставалось только одно живое существо — запоздавшая самка. Теперь она быстро бежала к дереву, на котором сидел Тарзан. Это была Кала. За ней по пятам гнался страшный Тублат. Как только Тарзан увидел, что Тублат ее настигает, он с быстротою падающего камня бросился на помощь своей приемной матери.

Она подбежала к дереву. Как раз над нею сидел Тарзан, затаив дыхание, выжидая исхода этого бега вразупуски. Кала подпрыгнула и зацепилась за низко висевшую ветку. Казалось, что она уже в безопасности. Но раздался сухой громкий треск, ветка обломилась, — Кала свалилась прямо на голову Тублата, сбив его с ног.

Оба вскочили мгновенно, но Тарзан еще быстрее спрыгнул с дерева, и громадный разъяренный обезьяний самец внезапно очутился лицом к лицу с человеком-ребенком. Ничто не могло быть более на руку злобному зверю. С ревом торжества обрушился он на маленького лорда Грэйстока. Но

клыкам его не было суждено вонзиться в это коричневатое тело цвета ореха.

Мускулистая рука решительно схватила Тублата за волосатое горло. Другая рука вонзила несколько раз острый охотничий нож в широкую мохнатую грудь. Удары падали, словно молнии, и прекратились только тогда, когда Тарзан почувствовал, что ослабшее тело вяло рушится на землю.

Когда Тублат упал, Тарзан, обезьяний приемыш, поставил ногу на шею своего злейшего врага, поднял глаза к полной луне и, откинув назад голову, испустил дикий и страшный победный крик своего народа. Друг за другом со своих убежищ спустилось все племя. Они окружили стеной Тарзана и его побежденного врага, и когда собрались все, Тарзан обратился к ним.

— Я Тарзан, — громко сказал он. — Я великий боец. Все должны почитать Тарзана и Калу, его мать. Среди вас нет никого, кто может сравниться с ним в силе! Пусть берегутся его враги! — Устремив пристальный взгляд в злобно-красные глаза Керчака, молодой лорд Грэйсток ударил себя в грудь, и снова джунгли потряс пронзительный крик победителя.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

Владислав **ВЕТЛУГИН,**
фото





УЧЕНЫЙ... с 13 лет



Свердловчанин Олег Матвеев стал кандидатом наук в 20 лет, при этом специалисты сказали, что заряд его научной работы равен докторской диссертации. Мы задали несколько вопросов наставнику Олега Георгию Васильевичу Бабикову.

— Георгий Васильевич, в прессе несколько лет назад появились статьи об Олеге Матвееве, мальчике из Свердловска с большими математическими способностями. В 1983 году в 14 лет он выступил на Всесоюзной алгебраической конференции. Занимались с ним Вы... Что можно сказать об успехах Олега за прошедшие годы?

— Олег окончил школу с золотой медалью в 15 лет. Через три года окончил с отличием Уральский университет и одновременно с дипломной работой представил кандидатскую диссертацию, посвященную исследованиям матричных многочленов и уравнений, став после этого соискателем для сдачи кандидатских экзаменов при кафедре прикладной математики. Одновременно по направлению он стал работать в Институте математики и механики УрО АН СССР. Это, так сказать, внешние показатели. На первом курсе, в 15 лет, он за свои работы, вошедшие потом в кандидатскую диссертацию, получил премию Уральского математического общества, через год стал лауреатом Всесоюзного конкурса студенческих научных работ. Он имеет 7 опубликованных научных работ (6 из них появились в центральной печати). Еще одна работа принята в «Доклады АН СССР» — наиболее престижный научный журнал в стране. Первая его научная работа была опубликована, когда ему было 13 лет.

— Олег был направлен на работу в Институт математики и механики Уральского отделения АН СССР, а Вы ушли отсюда... Почему?

— Очевидно, это может означать одно: не всем нравились мои занятия с ним.

— Как же продолжалась Ваша совместная работа дальше?

— Многообразно. Во-первых, это — организационные меры, связанные с защитой диссертации. Мы выступали в Киевском университете на семинарах двух кафедр, получив поддержку там. После этого Олег выступал в МГУ на алгебраическом семинаре, где он также был хорошо принят. Повторяю: диссертация у Олега была уже на руках при окончании университета, более того, важнейшие результаты были получены им в 14 лет и опубликованы в большой статье в 1984 году. За этот период метод Матвеева удалось сравнить с методом академика Л. В. Канторовича — в определенном смысле, метод Матвеева оказывается лучше. Были получены также результаты в области оптимизации (математического программирования), которые обобщают результаты, полученные до сих пор, и ряд других результатов. Сейчас спокойно можно сказать, что Олег сильнее некоторых докторов наук. Это я сказал в беседе в редакции журнала «Студенческий меридиан», но мои слова в публикации (№ 12, 1988 г.) были изменены, так как, видимо, показались чересчур «сильными».

— Иногда появляются заметки в газетах об особых способностях того или иного школьника. Например, в 12—13 лет кончают школу, поступают в вуз и т. п. Часты ли такие случаи?

— Большие способности встречаются не редко, но ими надо уметь управлять. Чаще известны случаи, когда эти способности угасали. Например, афганский мальчик Саид Джалал в 1979 году поступил в МГУ на математический факультет, ему было 9 лет. Его послало афганское правительство после того, как он за год прошел всю школь-

ную математику. К сожалению, инициаторы этой задумки не подумали о той мини-среде, в которой должен был жить Саид. Мальчик в чужой стране, оторванный от матери и сестер, которых он любил и которые его любили, лишенный их ласки и обихода, и... обстоятельства подавили способность. Именно поэтому я решительно воспрепятствовал в 1986 году давлению с тем, чтобы послать Олега на один-два года в Москву (была задумка послать его к академику И. М. Гельфанду), хотя ни он сам, ни его родители этого не хотели. Другой пример. Руф Лоуренс в 13 лет окончила не школу, а Оксфордский университет. Ее отец, тоже математик и богатый человек, посвятил жизнь дочери — он усиленно с ней занимался математикой. Лоуренс — это пример весьма успешного пассивного усвоения знаний, но дальше этого дело не пошло. На мой взгляд, методика обучения Лоуренса — это один из путей приглушения творческих способностей. Олег мог окончить школу в 11—12 лет, но мы пошли по другому пути. Я, разумеется, привел здесь наиболее яркие примеры, а вообще примеров много.

— Почему Вы увидели Олега, когда другие прошли мимо? И приходилось ли Вам еще встречаться с подобными случаями?

— Еще в шестом классе, за год до моей встречи с ним, Олег участвовал в защите рефератов и олимпиадах и обратил на себя внимание, но это не привело ни к каким последствиям. Почему? Этого я не знаю. Как я с ним познакомился и начал заниматься — об этом писали. Почему я его увидел? Видимо, потому, что был в какой-то мере настроен на это. Еще в 1965 году я опубликовал работу «Школа и развитие науки», в которой выступил против намечаемой смены учебников Киселева и поставил вопросы привлечения подростков к научной работе. Здесь я отвечаю уже на второй вопрос. Да, приходилось встречаться — об этом я писал в указанной работе. В 1986 году я узнал о больших способностях по математике и физике еще одного шестиклассника. Поговорил с его отцом, который занял такую позицию: мол, пусть растет, как все, иначе это приведет к разочарованиям в жизни. Я думал через некоторое время вновь вернуться к этому разговору, но мальчик уехал из Свердловска...

— Многих ли подростков, на Ваш взгляд, можно привлечь к научной работе?

— Олег сразу обратил на себя внимание большими способностями. В процессе работы с ним становилось ясно, что сами способности (большие или малые) могут развиваться, расти. Одним из критериев стал у нас такой — это «повторение» важных результатов, полученных математиками раньше при подходе к решению некоторой большой задачи. Об этом я рассказывал на Всесоюзной конференции «Научно-технический прогресс и научное творчество» в Свердловске в декабре 1988 года. И здесь хотелось бы сказать об интересной работе моего товарища, старшего научного сотрудника Института математики и механики А. Н. Фомина. Он был в курсе работы с Олегом и помогал нам. И нам пришла идея попробовать провести подобную работу не с вундеркиндом, а просто с хорошими успевающими школьниками. Эта важная работа, которой занимался А. Н. Фомин, увенчалась успехом — его ученики-школьники С. Дядьков, В. Рожин в десятом классе опубликовали свои результаты. Способности поддаются развитию, и ими надо научиться управлять. Конечно, от исходной точки, от начальных условий многое зависит, но не всё...



ЭТО ПЕСНИ ТВОИ И МОИ

Стефан ЗАХАРОВ, писатель-краевед

Песни Великой Отечественной войны! Они оставили глубокий след в истории советского музыкального искусства. Кто не знает «Священную войну», «Землянку», «Вечер на рейде», «На солнечной поляночке», «Под звездами балканскими», «Дороги»... Но есть среди песен военных лет и незаслуженно забытые.

В 1943 году композитор М. Табачников был на 4-м Украинском фронте руководителем армейского музыкального ансамбля. Его песню «Давай закурим!» на текст И. Френкеля широко пели в стране. М. Табачников написал также музыку и к песне «Хозяйка»:

В пути, в ночи устанешь,
С плеча винтовку стянешь,
Зайдешь, товарищ мой,
на огонек.

Привет, хозяйка!
Местечка нет ли, хозяйка?
Не чую ног.
И у меня далеко
Томится мать без срока,
И у нее все ночки изломаны
войной.

Позволь, хозяйка,
Вот хлеб и соль, хозяйка,
Поешь со мной...

Автором текста этой песни стал челябинский поэт Марк Гроссман, бывший потом долгие годы членом редколлегии «Уральского следопыта». О нем, как о красноармейце-поэте, участнике первомайского парада 1938 года на Красной площади, упоминается в книге «Сто военных парадов». Как и Табачников, Гроссман служил на 4-м Украинском. Однажды композитор, встретив поэта (а они дружили), поделился своим замыслом. Ему хотелось написать песню, посвященную матерям. Без мужей и сы-

новой им очень трудно приходилось в тылу, не легче, чем солдатам на передовой. Мелодия у Табачникова была почти готова. Гроссман ее быстро запомнил и в ту же ночь сочинил текст. У поэта хранилась записка Табачникова: «Маркуша! Спасибо за стихи! Молодец — пиши дальше. Может, из тебя получится толк. Ей-богу!»

Песни в дни войны создавались не только на фронте. Они не молчали и в далеком тылу. Расскажу о двух из них, родившихся в Свердловске.

В декабре 1941 года редакция газеты «Уральский рабочий», оргкомитет Союза советских композиторов и Свердловское отделение Союза писателей объявили конкурс на лучшую песню об Урале: «Урал — кузница оружия». Итоги подвели в феврале следующего года. Первую премию получил текст Агнии Барто. Но не было музыки. И члены жюри решили провести соревнование композиторов. Победил Т. Хренников, будущий народный артист СССР. Той зимой в Свердловске работал эвакуированный Центральный театр Красной Армии, где Хренников заведовал музыкальной частью. Он и разделил с А. Барто первое место на конкурсе.

Песня «Уральцы бьются здорово!» стала как бы музыкальным символом нашего края в годы Великой Отечественной.

...Уральцы бьются,
Эх, бьются здорово,
Нам сил своих,
Нам сил своих не жаль.
Еще в штыках стальных,
В штыках Суворова,
Она горела и сверкала,
Наша сталь...

Песню пели самодеятельные хоровые коллективы свердловских заводских клубов, а в 1942 году — ансамбль песни и пляски Уральского военного округа.

Популярной была и песня «Уралочка»:

Моя подружка дальняя,
Что елочка в снегу,
Ту елочку-уралочку
Забудь я не могу.
Письмо моей уралочки
Попробуй-ка пойми:
На фронт прислала валенки,
А пишет мне — «пимы».
На каждом слове токает:
Все «то», да «то», да «то»,
Зато такого токаря
Не видывал никто...

Песню эту любили не только в Свердловске, пели и солдаты на передовых позициях. Ее исполняли для них артисты фронтовых бригад, выезжавших из Свердловска.

Автором музыки «Уралочки» был выдающийся советский композитор А. Хачатурян. Написал он ее весной 1943 года на стихи непрофессионального поэта Г. Славина, эвакуированного в Свердловск с одним из подмосковных научно-исследовательских институтов. Позднее Хачатурян говорил:

— Я очень люблю эту песню. И никогда не забуду, что первое ее издание было отпечатано на газетной бумаге тиражом более полумиллиона экземпляров. Стоила эта листовка как рубль, и весь гонорар пошел на нужды фронта...

Пусть песни, о которых здесь рассказано, будут для одних открытием, а для других — воспоминанием о прошлых военных годах.

г. Свердловск

КАК НЫНЕ СБИРАЕТСЯ ВЕЩЕЙ ОЛЕГ...

Леонид СУРИН, краевед

Я до сих пор храню свои школьные тетради. Им перевалило уже за полвека. Смотрю на них как на архивные документы. Да они и впрямь документы эпохи, которую мы называем сталинской. У некоторых тетрадей уцелела только нижняя половина обложки, причем сразу видно, что верхняя не оторвана, а аккуратно срезана ножницами...

Летом тридцать седьмого года мы с мамой и сестрой гостили у дяди в Березниках. Николай Иванович, брат мамы, работал там начальником почты. Его жена Надежда Сергеевна была учительницей.

В конце лета на семейном совете было решено, что я останусь пожить у дяди Коли и здесь пойду учиться в шестой класс. Так я стал учеником

средней школы, носящей имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Ее так и звали в городе — пушкинской.

Помню, учительница литературы Антонина Федоровна задала на дом выучить наизусть стихотворение Пушкина «Песнь о вешем Олеге». Я был дома один. Расхаживая из угла в угол, с наслаждением повторял вслух:

Как ныне собирается вещей Олег
Отмстить неразумным хазарам...
Стихи запомнились сами собой.
К тому же не надо было заглядывать в учебник: они были напечатаны на обложке школьной тетради вместе с репродукцией известной картины художника Васнецова. В 1937 году страна отметила столетие со дня гибели Пушкина.

Мелькали день за днем. Уже приближался новый 1938 год, и вдруг взрослая непонятная жизнь, которая до этого только краем задевала сознание, властно ворвалась в нашу школу и в наш класс.

Один за другим вдруг начали исчезать учителя. Вместо исчезнувшего в класс входил другой учитель, урок которого был совсем не по расписанию.

А на переменах по школьным коридорам шепотом расползлась очередная новость: «Враг народа... Арестован...»

Однажды, возвратившись вечером из школы, я застал дядю и тетю за странным занятием. Они сидели в кухне в окружении вороха альбомов и старинных открыток. В печке горел огонь, а тетя вытаскивала из альбома открытки и кидала их в топку. Лицо у нее при этом было скорбным и расстроенным.

— Тетя Надя! — в отчаянии завопил я, увидев, как огонь пожирает сказочные богатства. Это были репродукции картин Репина, Айвазовского, Сурикова и других русских художников, а также красочные виды городов Российской империи. И вот теперь все это безжалостно летело в огонь!

— Зачем? Зачем вы это делаете? — повторял я.

— Иди помоги, — вместо ответа устало сказала тетя Надя. — Видишь, их сколько. Дореволюционные откладывай и давай мне. Ты знаешь, что будет, если у нас сделают обыск и найдут вот это, это и это?! — И тетя ткнула пальцем в почтовые марки, на которых были напечатаны все самодержцы, начиная с Петра I и кончая последним царем Николаем II.

А потом настал еще более странный и непонятный день. Учительница литературы Антонина Федоровна вошла в класс и сказала:

— Достаньте ваши тетради.

Мы повиновались.

— Теперь слушайте меня внимательно. У кого на обложках рисунки к произведениям Пушкина, их нужно немедленно срезать. Аккуратно, ножницами. Надписи, фамилию и имя оставьте.

Класс зашевелился, приглушенно загудел.

— Не спрашивайте... Так нужно.

Голос учительницы был строгий, но мне показалось, что глаза ее смотрели на нас с затаенной грустью.

Антонина Федоровна вынула из портфеля ножницы и с металличе-

ским стуком положила их на переднюю парту.

В перемену загадка странного приказа разъяснилась. Оказывается, некто пришел в Березниковский отдел НКВД и как дважды два четыре доказал, что пушкинские рисунки на школьных тетрадях — это оголтелая контрреволюционная вылазка классового врага, потому что каждый рисунок содержит в себе зашифрованную и незаметную с виду антисоветскую пропаганду. Об этом нам поведал старшеклассник Васяка Субботин.

— Да где тут может быть пропаганда? — усомнились мы, разглядывая знакомый рисунок.

— Эх вы, тери! Это, по-вашему, что?

— Что, что! Меч в ножнах.

— Ах, меч? — это какая, по-вашему, буква? «Д»... А дальше что? «О»? А это? Видите, с загогулиной в левую сторону. Это же «Л»! А в целом получается «ДОЛОЙ».

Васяка повернул тетрадку боком и поднес к моим глазам ту часть рисунка, где был изображен плащ князя Олега.

— Вот тут в узорах скрывается буква «В», тут — «К», это — «П», а здесь вот, махонькая... это — «б». Получается, — Васяка оглянулся и перешел на шепот, — «Долой ВКП(б)».

В рисунке «У Лукоморья дуб зеленый», оказывается, был зашифрован лозунг «Долой РККА!». А на репродукции с картины Крамского — «Долой Ворошилова!».

Я, правда, никак не мог этот последний лозунг расшифровать. «Долой» еще как-то складывалось, а «Ворошилов» — никак, хоть убей. Но раз взрослые говорят...

— Слушайте, — сказал вдруг кто-то из ребят. — А зачем им это?

— Кому это «ИМ»? — встрепенулся Васяка.

— Ну, этим... врагам народа? Ведь это же ребус какой-то. Его разгадать надо!

— Эх ты! — рассердился Васяка. — Не понимаешь, что ли? Они делают это, чтобы нам насолить. В открытую боятся, паразиты. Знают, что народ против них. Вот и гадят втихую.

Всю перемену мы стригли наши тетради. Теперь за давностью лет могу покаяться, что совершил тогда контрреволюционный проступок: вырезал рисунки только в тех тетрадях, которые ходили в классе, другие оставил. Резать рука не поднялась.

О том, что могли сделать с художниками, готовившими иллюстрации к пушкинской дате, с рабочими, которые печатали в типографиях эти обложки, я тогда просто не думал. Они и сейчас у меня, эти тетради, хотя с тех пор миновало уже более половины века...



г. Юрюзань

Рис. Дмитрия Лебедихина

к 150-летию со дня рождения

П. И. ЧАЙКОВСКОГО

«Я БУДУ ВЕЛИКИМ

Вера
ГОРОДИЛИНА



МУЗЫКАНТОМ

Учитель музыки,
ныне пенсионерка,
Вера Борисовна Городилина
стала в Алапаевске
инициатором
двух замечательных
собраний:

музея
музыкальных инструментов,
многие из которых
представлены
в миниатюрных копиях,
выполненных
самой Верой Борисовной,
и музея

П. И. Чайковского —
в бывшем доме
управляющих заводами,
где в 1849—1852 годах
жила
семья Чайковских.

В мае
нынешнего года
музей этот
вновь откроет двери
после капитального ремонта.

Одновременно
Вера Борисовна
собрала архивный,
эпистолярный,
мемуарный
и иной материал,
обобщенный в большом
документальном
повествовании
«Жизнь Чайковских в Алапаевске».

Эта рукопись
еще ждет
своего издателя.
Мы печатаем
только небольшой
ее фрагмент.

Места детства были памяты Чайковскому. Свои первые 10 лет Петр Ильич прожил на Урале. Он родился в семье горного инженера, управляющего Камско-Воткинским округом, в Воткинске Вятской губернии (с 1935 года Удмуртская АССР).

В 1890 году он пишет брату Анатолию в Тифлис: «У меня теперь планы и мечтания поехать на Урал, посмотреть Алапаевск, Екатеринбург и потом Волгой и Каспийским морем к вам».

Однако, узнав из газет о сильном обмелении Волги и ее притоков, он не решился на эту поездку. И все же интересен факт, что никто из Чайковских более никогда не посетил даже Воткинска, а Петр Ильич именно Алапаевск выбирает для встречи со своим прошлым.

Играть на фортепиано он начал учиться дома 4-х с половиной лет, когда ему пригласили первую учительницу — крепостную Марию Марковну Пальчикову. Он и до этого уже импровизировал, подбирая очень верно на слух то, что слышал. Научившись играть, выступал на домашних музыкальных вечерах, а к восьми годам уже довольно свободно владел инструментом.

К осени 1848 года Чайковские уехали из Воткинска в Петербург, и мальчик впервые попал к хорошему преподавателю, узнал «настоящую музыку». Впоследствии Чайковский вспоминал своего учителя и любил сочинение, игранное с ним на уроках — «Соловей» Алябьева.

Но насыщенная новизной и впечатлениями жизнь в столице скоро кончилась: в первой половине 1849 года семья на три года переехала в Алапаевск. Именно в Алапаевске в Чайковском проснулся художник.

Здесь в отношении музыки Петр был предоставлен самому себе. Незадолго перед тем в Петербурге он перенес болезнь с осложнениями и по настоянию врачей увезен на Урал для поправления здоровья. Петр настолько совершенствуется в игре на фортепиано, что это замечают в семье. Сестра Лидия пишет: «Мы проводим время без скуки... Вечером читаем и даже иногда танцуем или поем. Пьер нам аккомпанирует на фортепиано, он прелестно играет, даже можно подумать, что играет взрослый. Нельзя сравнить, как он играл в Воткинске и теперь».

В алапаевских письмах нет упоминаний о «большой» музыке — приезжих музыкантах, концертах, о том, что могли они слышать в Екатеринбурге или на Ирбитских ярмарках в исполнении оркестра Соколова. Есть только редкие описания домашних развлечений.

Мать, Александра Андреевна Чайковская, в молодости обучалась игре на фортепиано. Ко времени приезда в Алапаевск, обремененная большой семьей и заботами по хозяйству, перестала играть, но любила петь в часы досуга популярные тогда романсы Гурилева, Варламова, Глинки, Алябьева.

Илья Петрович играл на флейте (его игру и инструмент потом наследовал младший сын Ипполит). Любовь к музыке и пению никогда не покидала его. И особенно забота, чтоб дети учились музыке.

Старшая его дочь с детства имела учителей. Остальные члены семьи лишь немного играли на фортепиано, но обладали музыкальностью и хорошим слухом. Все они любили петь и с увлечением танцевали. Особенно надо отметить отношение к музыке Петра его младшей сестры Саши. Племянник Чайковского Ю. Л. Давыдов в своих «Воспоминаниях» рассказывает со слов матери: «С раннего детства она полюбила, забившись в уголок кресла, слушать импровизации Петра. Она единственная, кто верил в гениальность брата, еще только предчувствовавшего ее зов».

С появлением в алапаевском доме новой наставницы Анастасии Петровны Петровой у мальчика появился компаньон и собеседник в музыке. В минуты откровений Петр говорил ей: «Я все равно буду великим музыкантом». Сочинял ли он в то время, сведений об этом нет. Но через два года после возвращения семьи в Петербург он пишет вальс и посвящает его Петровой, назвав ее именем: «Анастасия-вальс».

Брат композитора Модест Ильич утверждал, что Петрова была совершенно несведуща в музыке. На деле оказалось иначе. Документы сиротского Николаевского института, где она воспитывалась и откуда сразу попала к Чайковским, утверждают, что в течение семи лет она обучалась музыке наравне с другими дисциплинами и в аттестате своем имела столь же высокий балл, что и по иным предметам. По положению института это не давало права преподавания музыки в семьях, но быть ассистенткой и следить за выполнением задания ведущего преподавателя она могла. В Алапаевске такого преподавателя, вероятно, не было, и Петрова как-то восполняла этот пробел. Она могла понять Петра в его стремлениях, слушать его рассуждения о музыкальной науке, обсуждать их и играть с ним в четыре руки, что он очень любил и во все последующие годы.

Настойчивость и требовательность к себе, необычайная трудоспособность росли вместе с ним с раннего детства. Именно они помогали ему здесь, в Алапаевске, самоутверждаться. А в дальнейшем стали основным принципом творчества: «Вдохновение рождается из труда и во время труда... оно не любит посещать ленивых...»

Наряду с домашним музицированием алапаевская интеллигенция посещала народные гуляния, хороводы, представления. Чайковский любил такие зрелища. К сожалению, в Алапаевске не сохранилось ни описаний, ни устных преданий. Нам остается обратиться к другим примерам того времени, а их накоплено довольно много. «На праздниках простого народа более всего любили хороводы. Пестрые, яркие платья и сарафаны женщин, рубахи и поддевки парней. Красивый и ловкий парень на середине хоровода запекает: «Полоса ль моя, полосынька», а хор подхватывает: «Полоса ль моя не паханая...» (Сб. Ушедшая Москва, М., 1964). Эту картинку можно сравнить с описанием костюмированного бала у Чайковских 21 февраля 1850 года в Алапаевске: «Лидия и мадемуазель Петрова (гувернантка) были одеты русскими девушками, тетя Лиза в черных штанах и голубой рубахе, с очаровательной бородой и хорошевыми усами, а я была ее жеманкой. Мы танцевали под громкие крики «браво».

В тех же мемуарах упоминается бал у исправника 26 августа 1850 года: «Вертели орган и танцевали французскую кадрили». Орган этот сохранился и находится ныне в музее Чайковского в Алапаевске. У него четыре вала, на которых записано: на одном — десять русских и украинских народных песен, на другом — органная прелюдия, на третьем — увертюра к опере Россини «Севильский цирюльник», а на четвертом запись неразборчива, т. к. орган неисправен и требует восстановительного ремонта.

Н. Д. Кашкин вспоминает: «Чайковский в начале своей деятельности охотно пользовался народными песнями. Интерес к ним, вероятно, начался еще в детстве. В Алапаевске, подбирая по слуху песни, он варьировал их и

придумывал к ним окончания, как бы развивал тему. В очень ранней своей опере «Гипербола» (не сохранилась) он уже записывает песню с начальными словами «Борода ль моя, бородушка».

Что это за песня? По воспоминаниям местной жительницы Е. А. Арефьевой, в ее детстве пели песню о мастере, который «сидит, чай попивает и гладит бородушку». Не она ли отозвалась в ранней опере Чайковского?

Сборник Чайковского для фортепиано «50 русских народных песен», написанный в 1868—69 годах, — уже итог его давнего знакомства с народной песней. Затем песни он использовал во многих своих крупных сочинениях.

Кузина Петра Ильича Амалия Шоберт рассказывает, что Петя, уезжая из Алапаевска в 1850 году, оставил детям «Правила игры», составленные им. Они не сохранились и неизвестно, из чего состояли, но, вероятно, содержали и музыку для сопровождения игр. Из этих игр кузина запомнила две: «Жрецы» и «Похороны куклы». Известна трилогия из «Детского альбома» Чайковского «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла». Схожий сюжет рассказан и Амалией Шоберт. Пьесы написаны Чайковским в подарок племяннику, но эти картины пережил в детстве и сам композитор.

В 1854 году умерла мать Петра Ильича — Александра Андреевна. Эту страшную утрату Чайковский пережил только благодаря музыке. С этого времени становятся известны первые его сочинения: «Анастасия-вальс», опера «Гипербола» и вскоре — романс «Мой гений, мой ангел, мой друг», несложный по фактуре, но совершенный по настроению. В этом году он навсегда расстается с детством, пронеся через всю жизнь дорожку о нем воспоминания. С ними связаны и некоторые его крупные сочинения.

Сказку «Ундина» он прочел в сочинениях Жуковского, друга семьи. Маленькую Сашу в доме ласково называли «Ундиночкой». Позднее П. Чайковский напишет: «Роясь в библиотеке сестры, я напал на «Ундины» Жуковского и перечел эту сказку, которую ужасно любил в детстве».

Много раз Чайковский пленялся ею и много раз разочаровывался, почти 50 лет она не оставляла его в покое. Написанная в 1869 году, опера «Ундина» не была поставлена по вине администрации театра, и в 1876-м Чайковский ее уничтожил. Но еще раньше начал заимствовать из нее отдельные эпизоды и номера: марш во 2-й симфонии, песня Леля в «Снегурочке», адажио в балете «Лебединое озеро»... Есть предположение, что сценарий для своего первого балета «Озеро лебедей» Чайковский построил на сюжете «Ундины» и оставшаяся музыка оперы вошла в балет.

О жизни Жанны д'Арк Чайковский впервые узнал в Воткинске на занятиях с Ф. Дюрбах и из своей любимой книжки «Детство знаменитых людей» М. Массона «И очень сильно плакал над страданиями этой девы». Позднее он скажет: «Мысль написать на этот сюжет оперу пришла мне в Каменке при перечитывании Жуковского, у которого есть «Орлеанская дева», переведенная им с Шиллера... Я уже и прежде иногда думал об этом сюжете, но теперь начал увлекаться серьезно».

Автобиографичны три симфонии Чайковского: 1-я, Ми-бемоль Мажор и 6-я «Патетическая». Первая, сочиненная в 1866 году, удивительно передает настроение и образы зимней природы. Выросший среди суровой красоты Прикамья и Урала, Чайковский чувствовал величие и поэзию северного края.

Задуманная незадолго до смерти, ми-бемоль-мажорная симфония названа им «Жизнь». Однако сочинение это его не удовлетворяло. Вскоре Чайковский принял за другую симфонию, оказавшуюся последней: 6-ю «Патетическую».

Симфония была исполнена за несколько дней до его неожиданной смерти. Возвращаясь домой с кузиной Анной Мерклинг после первого исполнения в Петербурге, Чайковский признался: «Да, это история его жизни. 1-я часть — детство, смутное стремление к музыке, 2-я — молодость, светлая, веселая пора; 3-я — жизненная борьба, достижение славы. А последняя — это чем все кончается».



Житель села Бутка Талицкого района Свердловской области пенсионер Иосиф Алексеевич БЕРСЕНЕВ многие годы собирает полезные советы тем, кто оказался в поле или в тайге без достаточной пищи и лекарств. Добрую помощь окажет им окружающий растительный мир. Рекомендации эти составили уже 200-страничную рукопись.

Предлагаем читателям некоторые из советов И. А. Берсенева.

СОВЕТЫ ТЕМ, КТО В ПОЛЕ И В ТАЙГЕ

Если у вас из продуктов только хлеб да соль, собирайте сочных цветочных стрелок сурепки (или сурепицы), полевой горчицы — они растут на паровых полях или в хлебах — и ешьте их с солью, как зеленый лук.

Салаты можно приготовить из листьев лебеды (марь белая), полевого клевера, крапивы, щавеля, кислицы, мокрицы (звездчатки), осота полевого, татарника, сныти, одуванчика.

Корни и листья купыря едят отваренными, листья и цветочные стебли (до цветения) — в виде салата.

Для салата годятся молодые стебли и листья тмина, а когда он цветет (июнь-июль) — и белые его цветки.

Молодые корни лопуха (репейника) можно есть вареными, посолив по вкусу, печеными в золе и сырыми — как морковь.

В суп вместо капусты можно класть листья и побеги крапивы двудомной, тмина, лебеды (белой), побегов и листьев сныти, полевого клевера, душицы.

Соберите молодые листья, побеги и корни кипрея (иван-чай), отварите их в подсоленной воде и, слив воду, добавляйте в супы.

Из молодых листьев и стеблей борщевика сибирского, предварительно ошпарив их кипятком, можно сварить «пиканницу», измельчив зеленую массу и сдобрив ее сметаной или сливочным маслом и посолив по вкусу. Варить 8—10 минут.

Весной и осенью можно полакомиться луковичками лесной лилии (саранки) — испечь в золе, зажарить в масле или сварить в молоке, предварительно промыв.

Из листьев и цветков первоцвета весеннего можно приготовить напиток, заварив их кипятком и дав постоять 8—10 минут.

Листья кровохлебки пригодятся как приправа к салатам, супам, рыб-

ным блюдам. Трава имеет запах свежих огурцов.

Корневище татарника можно есть отваренным или испеченным в золе.

Сырые корневища калужницы болотной ядовиты, но в отваренном виде съедобны.

Корневища и молодые побеги рогоза широколистного и узколистного съедобны и питательны. Их можно есть в печеном и отваренном виде. Варенье, если их поджарить на сливочном масле, они напоминают по вкусу спаржу.

Корневища земноводного растения сусака, растущего по берегам рек, озер, прудов, болот, едят испеченными в золе; высушенные корни варят и жарят с салом.

Подземные клубнеобразующие побеги (столлоны) и утолщения на них (клубеньки) водяного растения стрелолиста едят сырыми, отваренными и жареными.

Очень питательны плоды белой кувшинки. Содержат до 47 процентов крахмала. Их едят в сыром виде, обрывая с черешков маковки и удаляя кожуру.

Весной мясистые корневища хмеля съедобны, как молодые побеги спаржи. Их можно есть отваренными в подсоленной воде, печеными в золе, жареными со сметаной или маслом.

Побеги лугового и лесного хвоща можно есть с солью сырыми и отваренными. У хвоща полевого съедобны спороносные побеги и корневые утолщения (клубеньки). Их едят отваренными (апрель-май), а иногда сырыми.

Сладки и питательны в сыром, вареном и жареном виде корневища колокольчика репчатовидного.

Съедобны также, если их отварить или испечь в золе, корневища купены многоцветковой. Едят и молодые побеги надземной части купены —

отваренными или пожаренными на сливочном масле.

Из полевых трав можно приготовить вкусное пюре, используя для этого сборы трав:

а) молодые листья лебеды копье-листной или красной мари, листья и молодые побеги крапивы двудомной, молодые сочные побеги сурепки;

б) листья и черешки сныти, крапивы, щавеля. Травы хорошо промывают, варят на пару или в небольшом количестве воды. Когда смесь будет мягкой, ее протирают через сито или просто растирают, толкут. Пюре приправляют мукой, маслом или сметаной, солят по вкусу, подогревают.

При простуде (кашле) полезно пить чай, заваренный листьями и цветками донника лекарственного или венчиками цветков коровяка скипетровидного.

Весной из молодых побегов сосны (пестиков) можно приготовить вкусный витаминный «таежный чай», измельчив и заварив их кипящей водой. После кипения дать постоять 8—10 минут. Чай утоляет голод, снимает усталость.

Стакан ядрышек кедрового ореха, измельченных до муки, заливают стаканом воды и настаивают 1,5-2 часа. Получается ореховое молоко.

Пасту для бутерброда можно приготовить следующим образом:

перемешать 100 г свежей измельченной хвои лиственницы и 300 г сливочного масла. Посолить по вкусу. Бутерброд можно подсластить сахаром;

сварить картофель в мундирах, очистить, истолочь. Измельчить ножом хвою лиственницы и всыпать в картофельное пюре, посолить по вкусу и заправить растительным маслом. Все хорошо перемешать;

40 г измельченных листьев березы и лиственницы (поровну), 200 г сли-



вочного масла посолить по вкусу, перемешать с подогретым маслом, охладить;

50 г свежих измельченных листьев березы, 200 г сливочного масла посолить по вкусу, хорошо перемешать в подогретом масле и охладить.

Свежие листья водяного перца можно использовать как приправу к ухе и супам (листья имеют жгучий вкус, подобный красному перцу).

Любая рыба будет вкуснее, если жарить ее на смеси подсолнечного и сливочного масла, взятых поровну.

Замороженное мясо надо оттаивать не в воде, а в закрытой посуде.

При подготовке овощных и мясных блюд овощи или травы надо закладывать в кипящую воду понемногу, варить с плотно закрытой крышкой — это уменьшит потерю витаминов.

Комары, мошки не выносят запаха гвоздики, аниса. Влейте в одеколон несколько капель гвоздичного или анисового масла и протрите незащищенные места тела.

Зуд от укуса можно успокоить, натерев кожу нашатырным спиртом или раствором пищевой соды (0,5 чайной ложки на стакан воды), или срезанной луковичей.

После укуса пчелы или других ядовитых насекомых прежде всего нужно вытащить жало, а место укуса натереть нашатырным спиртом, срезом красного помидора, луковичей, долькой чеснока, кашицей из поваренной соли или млечным соком одуванчика.

Залечивать различные ушибы, ранения можно, прикладывая к ним мох-сфагнум в сыром или сушеном виде как присыпку или свежие листья крапивы двудомной, предварительно растерев их, а также растертые листья лопуха (репейника), медуницы. Делать присыпки к ранам можно порошками из высушенных листьев: зверобоя и кипрея в соотношении 1:1, а также прикладывая растертые листья тысячелистника, подорожника, мать-и-мачехи.

Чтобы сохранить от муравьев на привале и ночлеге сахар и другие продукты, насыпьте вокруг рюкзака тонкий валик из древесной золы от костра.

Настоем высушенных листьев и соцветий лопуха большого лечат ожоги, фурункулы, укусы змей, прикладывая к ранам смоченную в настой марлю или чистую тряпку.

Листьями калужницы болотной лечат гнойные раны при ожогах. Эти же раны лечат кашицей из листьев капусты и яичного белка.

Свежую траву спорыша (конотопки) врачи советуют прикладывать к ранам и плохо заживающим язвам. А настоем свежей измельченной травы спорыша, зверобоя используют для компрессов при ушибах.

При свежих ожогах и обморожениях лечатся кашицей сырого лука,

прикладывая ее к больным местам, а также делают повязки из прожаренного подсолнечного масла.

Ожоги лечат также мазью, приготовленной из отваренных корней лопуха большого и сливочного масла (соотношение 1:1). Можно натереть место ожога сухим мылом.

Свежий сок репчатого лука растворяет почечные камни и песок. Он же облегчает при запорах, геморрое. Его пьют по 1 чайной ложке 3—4 раза в день до еды.

Если приложить к ранке мякоть молодого гриба-дождевика, кровь останавливается и боль успокаивается.

Отваром из корней лопуха (соотношение 1:10) в виде примочек или мазью отваренных корней и вазелина (также 1:10) лечат ожоги, укусы ядовитых змей, пчел, ос.

При укусе змей, пчел, ос к ране можно приложить хорошо растертые листья одуванчика. До этого сделать отсасывание яда и рану смазать млечным соком одуванчика.

Мазью, приготовленной из сухих цветков таволги (лабазника) и свежего жира речной рыбы лечат людей, страдающих экземой.

Весной и летом, отправляясь в лес, не забудьте защитить себя от поражения клещом. В карманы, рукава плотно прилегающей одежды положите листья полыни. Клещ не переносит ее запаха.

Рисунок
Владимира Ганзина



Затянувшаяся месть

Как-то летом мы с секретарем Мокроусовского райкома партии заехали в Крепостинскую бригаду колхоза «Родники» (Курганская область). Бригадир радовался, что посевы всюду хорошие, только одно поле подводит, — жаловался...

— Поле как поле, — вздыхал он, — в пахотных угодьях числится, план на него дают и при исчислении средней урожайности площадь считают, а толку... Хрен там дурит! — Он взмахнул рукой. — Думали, кукурузу посеем — выведем стержца междурядными обработками, да, видать, и эта затея впустую...

— Что за поле? Откуда там хрен? — поинтересовался я.

Бригадир рассказал байку.

Говорят, лет сто назад был в Крепости земельный передел. Богатый казак выставил на сходе боценок водки и уговорил станичников прирезать хлебородное поле одного поселенца к собственному наделу. Сказывают, бедняк белугой ревел, что плодородную землю оттяпали. Без толку.

Голь на выдумку хитра. Мужик по всей округе накопал в огородах хрена и рассадил коренья по всему полю, что у него отняли. Только год и получал богатый хлеб. А как хрен силу взял — ничем его вывести не смогли. Парят поле, а он того пуще растет. Засеют — он всходы глушит...

Г. УСТЮЖАНИН

Нелегкая доля

Сингапурские полицейские приходят, помимо всего прочего, еще и курс борьбы со змеями, которые все чаще появляются на улицах города. Недавно в сингапурский зоопарк доставили двух питонов. Одного из них, длиной 8 м и толщиной 25 см, поймали два полисмена после ожесточенной схватки недалеко от гостиниалы Вудбридже. Другого питона полицейские выловили в канализационном канале, идущем вдоль улицы Сесил, в финансовом центре города. Как заявили представители зоосада, в террариуме змеям будут обеспечены куда лучшие условия жизни, чем в «асфальтовых джунглях».

Б. ПИНАЕВ

Имя этого «бомбиста», как называли в прошлом веке таких людей, Бронислав Пилсудский. Знакомая фамилия, не правда ли?

Да, Бронислав — старший брат «того самого» Пилсудского Юзефа: маршала, который разбил войска Тухачевского при их движении на Варшаву и был за это объявлен национальным героем, который стал фактическим диктатором Польши, три года официально был — ни много, ни мало — «начальником государства», бесменным главой «санационного» режима и до конца дней своих оставался ярким «врагом Советской России».

А вот его кровный брат, Пилсудский Бронислав, находился по другую сторону баррикады: он с юных лет боролся против российского самодержавия, точнее — против самодержцев. Царская Фемида объявила его опасным государственным преступником. Ведь он был участником покушения на императора Александра III, осуществленного боевиками «Народной воли» 1 марта 1887 года. За «преступное посягательство на жизнь августейшей персоны» (в котором, как известно, принимал участие и Александр Ульянов, старший брат В. И. Ленина) Бронислав Пилсудский был осужден на 15 лет каторги и сослан на Сахалин.

Но не жди, читатель, исходя из заголовка, рассказа о бомбах и взрывах, погонях и прочих народовольческих делах. Ибо речь пойдет не о боевых действиях, а о научном подвиге Б. Пилсудского, совершенном под неусыпным полицейским надзором.

В тяжелых, бесчеловечных, одним словом — каторжных, условиях вел он большую исследовательскую работу. Изучал язык, быт и нравы коренного населения Сахалина: айнов, нивхов и особенно ороков — самой малочисленной и наименее изученной народности острова.

Вот почему Русское Географическое общество за «труды на пользу науке» в 1903 году наградило бывшего политкаторжанина, в тот момент ссыльно-поселенца Бронислава Пилсудского малой серебряной медалью. В представлении к награде было указано: «В лице Б. О. Пилсудского, проживающего в настоящее время на острове Сахалине, русская наука имеет усердного и самоотверженного собирателя этнографического материала».

Когда 11 июня 1905 года (ровно за месяц до японской оккупации Сахалина) Бронислав Пилсудский покинул остров, в его научном багаже находилось 3948 страниц этнографических записей, в

том числе свыше 20 тысяч слов на языках сахалинских аборигенов, около 300 фотографий, 30 записанных валиков для фонографа с песнями и сказками...

Научные труды Б. Пилсудского впоследствии публиковались во Франции и России, Польше и Англии, Австрии и Японии. Созданные им орокско-польский словарь и толковый словарь орокских топонимов и антропонимов с грамматическими комментариями автора, хранятся сегодня в Кракове, в библиотеке Польской Академии наук. В архивах Ленинграда, Томска, Владивостока также имеются ценные материалы из научного наследия Бронислава Пилсудского, сменившего бомбу террориста на мирное стило исследователя.

А совсем недавно в Центральном государственном архиве РСФСР Дальнего Востока (Томск) удалось обнаружить новую рукопись Б. Пилсудского «Из поездки к орокам о. Сахалина в 1904 году».

Несмотря на то, что с момента поездки Б. Пилсудского к орокам прошло уже более восьми десятков лет, актуальность сделанных автором наблюдений не утратила своего значения и сегодня. Так, по свидетельству кандидата исторических наук А. И. Костанова: «Работа содержит ряд неизвестных ранее фактов. Она существенно дополняет уже известное о коренном населении Сахалина». И поэтому книжка бывшего народовольца Бронислава Пилсудского, совершившего свой главный подвиг на научной стезе, была в 1989 году издана в Южно-Сахалинске.

А. СЛАВИН

Кто не знает знаменитого доктора Айболита? Он понимал язык животных и лечил всех, кто к нему обращался. Это в сказке. Ну а в жизни животным приходится лечить себя самим. Вот, например, как поступают шимпанзе, когда почувствуют себя плохо: они используют для лечения листья одного из растений, являющегося родственником обыкновенного подсолнечника. Недавно химики из Калифорнийского университета обнаружили, что оно содержит в себе сильнодействующий антибиотик.

Но вот что интересно: вместо того, чтобы просто жевать листья, шимпанзе скатывают из них шарики и заглатывают. «То есть они делают своеобразные «пилюли», — говорит Ричард Рангхэм, антрополог из Мичиганского университета, которому первому удалось наблюдать этот способ самолечения шимпанзе.

Е. СОЛДАТКИН



ДОМИК В ЗЛАТО- ГОРОВО

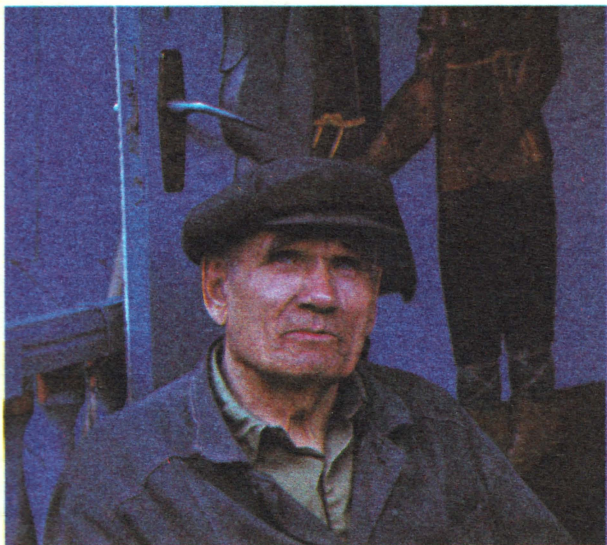
Юрий
СЕНТЯБРЕВ

Фото
Олега Капорейко

Деревню Златогорова ежедневно, и еженощно, словно ручной пилой, распиливает надвое неостановимый тракт. Бесцеремонно, как залетный супостат, наполняет он шумом и гарью бессонные ночи здешних стариков. Нет бы обогнуть деревню стороной, благо версты вокруг немереные, так ведь по самой середке — по кухонкам, горенкам и печным лежанкам гремит и взвизгивает тракт. Словно бы не люди строили дорогу, а прокатилось запрограммированное где-то далеко крутое колесо...

А на обочине тракта в самом центре деревни притягивает взгляд и греет душу расписанный деревянными и металлическими кружевами домик. Постучишь в ворота, войдешь во двор — там тоже все разрисовано. На двери, ведущей в избу, вырезана и раскрашена фигура некоего гостеприимного хозяина, приглашающего в дом.

На приступке крыльца увидишь низенького плотного человека, одетого в валенки и толстые стеганые штаны. Он сидя протягивает руку. На лице улыбка и немного настороженности. Это Павел Петрович Кожеников, златогоровский старожил, в прошлом пимокат. Не только однопольчане в его пимах хаживали, но и жители окрестных Бруснят, Камышево, Логиново... Семь-восемь рублей на теперешние деньги стоили его валенки, а уж катал на совесть.



Беседуем, перескакивая с одного на другое. Павлу Петровичу 66 лет, он здешний уроженец, инвалид первой группы. Всю жизнь получает пенсию — 45 рублей. С минувшей войны не вернулись его отец и два брата — вот почему три звездочки на воротах. Этот дом, хозяйственные постройки, резьба — все его рук дело. Помогал еще брат Владимир Петрович, живущий в Ташкенте. Наездами помогал. Вот с ним и построили.

Прошу Павла Петровича показать инструмент для резьбы по дереву. Он проворно слезает с крыльца, встает на четвереньки и ведет меня в свою мастерскую. Эти несколько шагов вслед за пожилым ползущим человеком — из тех, что рубцуются в памяти на всю жизнь. Верить и не верить, что это он поставил дом деревне на загляденье, украсил его снаружи и изнутри так, что глаз не оторвать. А мы-то с двумя здоровыми руками и ногами по полжизни выклянчиваем квартиру с удобствами, месяцами ждем слесаря, чтобы починил кран, бегаем по магазинам в поисках дефицитов, выстаиваем километровые очереди за бутылкой водки... В суете и житейских интригах прожигаем свою единственную жизнь!

Павел Петрович моего волнения не замечает. Он весь в любимом деле. Инструмент — его слабость. Десятки стальных стамесок и стамесочек разной конфигурации красуются на стене — каждая в своем кармашке. Мастерит их из отходов: собирает вышедшие из употребления стальные пилы по железу, режет, гнет, калит, затачивает... Некоторые операции он быстро и ловко продемонстрировал на станочках тоже собственного изготовления.

Без дела Павел Петрович не может. Ну а если начал что, не успокоится, пока до конца не доведет. Однажды долго пришлось пролежать в больнице. Руки затосковали. Попала на глаза консервная банка. А что если разрезать ее на полоски, а из полосок... И полетели дни. Из бросовых банок стало возникать жестяное кружево. И явилась на свет настольная лампа, единственная в своем роде.

...Стоит завидной красоты домик в центре деревни Златогорова. Сидит на приступке крыльца его творец и хозяин. А рядом бесцеремонно и неостановимо несет тракт...

Ю. СЕНТЯБРЕВ.





СКВОРЕЦ ОБЫКНОВЕННЫЙ

Под таким названием числится он в определителе птиц СССР, не какой-нибудь серый, розовый, японский, а именно обыкновенный, тот самый, что прилетает к нам на Урал каждую весну. Скворцов у нас ждут все от мала до велика, мастерят новые скворечники, ремонтируют старые. И птицы охотно пользуются добротой человека, не ищут себе жилье в дуплах деревьев, а спешат занять домики на шестах.

Первыми появляются самцы. Шумной ватагой облетают прошлогодние скворечники, осматривают новые. Их подруги прилетают в родные места неделей позже.

Недолог птичий праздник с песнями, играми. Вот уже появляются в гнездах голубоватые яички, а вскоре мы услышим, хотя и слабые, но настойчиво-требовательные голоса птенцов, ждущих корма.

Родители стараются как могут. Только-только забрезжит рассвет — они уже на крыле. Из двадцати четырех часов суток примерно шестнадцать они в поисках корма. К тому же путь от скворечника до места охоты и обратно совсем не близок: не один десяток километров «наматывает» птичий счетчик по воздуху. А сколько еще на земле! Да и не всякий день выпадает удачная охота.

Растет потомство, и трудятся родители без отдыха, разве что на секунду присядет птаха на приступок у летка или на крышу. Не столько отдохнуть, сколько опомниться. Куда же теперь лететь? Где еще не были? Откуда можно принести корм?..

ОЛЕГ КАПОРЕЙКО

Фото автора